

ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ ЖУРНАЛИСТИКИ
КАФЕДРА ИСТОРИИ ЖУРНАЛИСТИКИ

Методические рекомендации

"Основы теории литературы"

Для студентов I курса дневного и заочного отделения
факультета журналистики по специальности журналистика – 021400

Составитель: проф. Кройчик Л.Е.

Доц. Козлова Н.Н.

ВВЕДЕНИЕ

У теории литературы и теории журналистики много точек соприкосновения: и та, и другая изучают текст, выявляют особенности жанрового состояния произведения, интересуются особенностями выявления авторской позиции в тексте, исследуют его стиливые особенности. Творчество литератора и творчество журналиста близки между собой не только предметом исследования (жизнь человеческой личности и общества в целом), но и характером этого исследования, поскольку и писатель, и публицист используют один и тот же “строительный материал” при создании своих произведений – слово.

Все это предопределяет важность изучения теории литературы будущими журналистами.

Теория литературы (литературоведение) – наука о принципах и методах научного исследования литературы.

* _ *

Под общим литературоведением подразумевается наука о сущности, происхождении, формах выражения и жизненных связях художественной литературы.

Макс Верли. Общее литературоведение. – М., 1957. – С.9.

* _ *

Предметом исследования в теории литературы являются:

1. Письменная и устная словесность в целом и художественное произведение как конечный результат деятельности писателя.
2. Личность художника как автора текста.
3. Литературный процесс как развернутая картина познания мира в художественных образах.

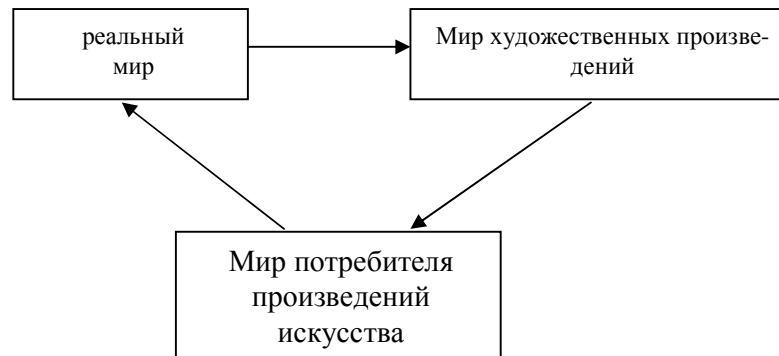
Поскольку литература является видом искусства, в центре внимания исследователя оказываются коренные вопросы искусствознания: специфика искусства как способа духовно-практического освоения мира, природа художественного образа, функционирование словесных форм человеческого бытия.

Теория литературы тесно связана с другими гуманитарными дисциплинами – лингвистикой, историей, философией, социологией, педагогикой, искусствознанием, а также с рядом вспомогательных научных дисциплин – текстологией, палеографией, библиографией.

Рассматривая искусство как особый тип творческой деятельности человека, как особую форму познания действительности, ученые обращают внимание на то, что в произведении искусства происходит преобразование впечатлений реальной действительности в особую – виртуальную – картину благодаря работе фантазии, воображению художника, благодаря вымыслу, пронизывающему все творчество мастера.

Одновременно процесс создания виртуального мира рассматривается как обобщение впечатлений реальной действительности, как некое движение от индивидуально-неповторимого к закономерному, от логически-абстрактного к художественно-образному познанию.

Сложные взаимоотношения действительности и произведения искусства можно выразить следующей схемой:



Реальный мир – это объективный мир, существующий в реальном времени и пространстве.

Мир художественного произведения – виртуальный, субъективно воспроизведенный художником реальный мир, существующий в эстетически организованной системе пространственно-временных координат.

Мир потребителя произведений искусства – субъективный мир нашего воображения, нашего восприятия произведения искусства. Характер этого восприятия тесно связан с соотнесением потребителем его собственных представлений о мире с миром художественного произведения.

Все это предопределяет субъектно-объектную природу произведения искусства, как особой формы самовыражения личности и особой формы восприятия этого самовыражения.

Выражать себя – значит создавать модель своих представлений о мире.

Философ говорит силлогизмами, поэт образами и картинами. Политико-эконом, вооружаясь статистическими числами, доказывает, действуя на ум своих читателей. Поэт, вооружаясь живым и ярким изображением действительности, показывает ее в верной картине, действуя на фантазию своих читателей.

Белинский В. Взгляд на русскую литературу 1847 г. ПСС.
– М., 1956. – Т10. – С.303.

* _ *

В произведении искусства заключена специфически выраженная информация. Природа этой специфики определяется тем, что образная картина мира предполагает:

1. Вариативность – множественность изображения художественных идей: одна и та же художественно выраженная идея воспринимается потребителями произведения искусства по-разному.
2. Метафоричность восприятия: изображение предметного мира опирается на эмоциональное к нему отношение.
3. Заведомую условность изображаемого: само движение от индивидуально-неповторимого к закономерному предполагает нарушение жизненного правдоподобия (“Мысль изречения есть ложь” – Ф. Тютчев).
4. Материализацию мысли в предметной оболочке конкретных художественных приемов.

Таким образом, искусство выступает как особая форма общественного сознания, как вид духовной деятельности, как особый эстетически выраженный тип мышления.

Формой выражения художественного мышления является образ – иносказательная, метафорически высказанная мысль, раскрывающая одно явление через другое. Художественный образ – способ исследования жизни, одно из средств познания действительности, он не копирует действительность, а рождает новое представление о мире, сопоставляя два самостоятельных явления – объективную реальность и субъективное ее восприятие как художником (первичный образ), так и потребителем произведения искусства (вторичный образ).

Схема рождения образа: действительность —▶ восприятие —▶ преобразование
ее самовыражение.

* _ *

Художественный образ – форма отражения действительности, конкретная и вместе с тем обобщенная картина человеческой жизни, преобразованная в свете эстетических идеалов художника, созданная при помощи творческой фантазии.

СЛТ – М., 1974, – С.241

* – *

Художественный образ – это цельная и законченная характеристика изображаемого жизненного явления, данная в конкретно-чувствительной, эстетически-значимой форме.

Зись А. Искусство и эстетика. – М., 1967. – С.70

* – *

Создание художественного образа – процесс постижения истины; стремление выразить в понятийном непонятийное. Это определяет как гносеологический, так и эстетический характер образа. Эстетическая природа образа отличает его от знака, где на первый план выдвигается информационно-познавательное значение.

Художественный образ – универсальная категория искусства, его специфика как вида творческой деятельности. При этом следует помнить о многозначности этого понятия: в произведения искусства мы встречаемся с образом-характером, образной деталью, образной фразой, образным воспроизведением ситуации в целом.

Художественный образ всегда основан на развитии авторской мысли, на саморазвитии и на развитии восприятия текста аудиторией. Первоначальный авторский замысел может войти в противоречие с логикой развития характера персонажа.

Сказанное позволяет говорить об особенностях природы художественного образа: его субъектно-объектной организации, поскольку он не только результат чувственного восприятия мира, но и результат преобразования впечатлений субъекта. Образ всегда конкретен и в то же время представляет собой синтез зримого и незримого. Он индивидуально неповторим; непосредствен (всегда чувственно-конкретен); принципиально метафоричен, основан на иносказании; условен; целостен; эмоционален (образ – эмоционально просветленная мысль).

По своей структуре образ – сплав единичного (индивидуальных особенностей описываемого предмета или характера), особенного (соединение персонажа с окружением), всеобщего (наличие типических черт, свойств и признаков в изображенном предмете или явлении).

Образ в художественном произведении выполняет те же функции, что и произведение в целом: коммуникативную, познавательную (эвристическую), катартически-

компенсаторную, творчески-созидательную (эстетическую), художественно-концептуальную, внушающую, прогностическую, гедонистическую, воспитательную.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ I

Литература как вид искусства

(Глава “Понтий Пилат” из романа “Мастер и Маргарита”

М.А. Булгакова и картина “Что есть истина” Н.Н. Ге)

1. Литература как искусство слова.
2. Особенности создания художественной модели мира в произведениях живописи (композиция, цвет, ракурс).
3. Соотносительная характеристика образов в картине Н.Н. Ге и в романе М.А. Булгакова.
4. Слово как инструмент создания образа в главе “Понтий Пилат”.

Л и т е р а т у р а

1. Бахтин М.М. Слово в романе/В его кн.: Вопросы литературы и эстетики. – С. 145-149.
2. Борев Ю. Эстетика. – М., 1975.
3. Бэлза И.Ф. Генеалогия “Мастера и Маргариты”/ В кн.: Контекст01978. – М., 1978. – С.156-185
4. Введение в литературоведение/Под ред. Г.Н.Поспелова. – М., 1983. Гл. Литература как вид искусства.
5. Введение в литературоведение. Хрестоматия. – М., 1979. Раздел II. Литература как вид искусства. – С.97-109.
6. Гегель Г.В.Ф. Лекции по эстетике. – М., 1971. – Т.3. – С.343, 348-352.

Понтий Пилат

В белом плаще с кровавым подбоем, шаркающей кавалерийской походкой, ранним утром четырнадцатого числа весеннего месяца нисана в крытую колоннаду между двумя крыльями дворца Ирода Великого вышел прокуратор Иудеи Понтий Пилат.

Более всего на свете прокуратор ненавидел запах розового масла, и все теперь предвещало нехороший день, так как запах этот начал преследовать прокурора с рассвета. Прокуратору казалось, что розовый запах источают кипарисы и пальмы в саду, что к запаху кожи и конвоя примешивается проклятая розовая струя. От флигелей в тылу дворца, где расположилась пришедшая с прокуратором в Ершалаим первая когорта Двенадцатого Молниеносного легиона, заносило дымком в колоннаду через верхнюю площадку сада, и к горьковатому дыму, свидетельствовавшему о том, что кашевары в кентуриях начали готовить обед, примешивался все тот же жирный розовый дух. О боги, боги, за что вы наказываете меня?

“Да, нет сомнений! Это она, опять она, непобедимая, ужасная болезнь гемикрания, при которой болит полголовы. От нее нет средств, нет никакого спасения. Попробую не двигать головой”.

На мозаичном полу у фонтана уже было приготовлено кресло, и прокуратор, не глядя ни на кого, сел в него и протянул руку в сторону.

Секретарь почтительно вложил в эту руку кусок пергамента. Не удержавшись от болезненной гримасы, прокуратор искоса, бегло проглядел написанное, вернул пергамент секретарю и с трудом проговорил:

– Подследственный из Галилеи? К тетрарху дело посылали?

– Да, прокуратор, – ответил секретарь.

– Что же он?

– Он отказался дать заключение по делу и смертный приговор Синедриона направил на ваше утверждение, – объяснил секретарь.

Прокуратор дернул щекой и сказал тихо:

– Приведите обвиняемого.

И сейчас же с площадки сада под колонны на балкон двое легионов ввели и поставили перед креслом прокуратора человека лет двадцати семи. Этот человек был одет в старенький и разорванный голубой хитон. Голова его была прикрыта белой повязкой с ремешком вокруг лба, а руки связаны за спиной. Под левым глазом у человека был большой синяк, в углу рта – ссадина запекшейся кровью. Приведенный с тревожным любопытством глядел на прокуратора.

Тот помолчал, потом тихо спросил по-арамейски:

– Так это ты подговаривал народ разрушить ершалаимский храм?

Прокуратор при этом сидел как каменный, и только губы его шевелились чуть-чуть при произнесении слов. Прокуратор был как каменный, потому что боялся качнуть пылающей адской болью головой.

Человек со связанными руками несколько подался вперед и начал говорить:

– Добрый человек! Поверь мне...

Но прокуратор, по-прежнему не шевелясь и ничуть не повышая голоса, тут же перебил его:

– Это меня ты называешь добрым человеком? Ты ошибаешься. В Ершалаиме все шепчут про меня, что я свирепое чудовище, и это совершенно верно, – и так же монотонно прибавил: – кентуриона Крысобоя ко мне.

Всем показалось, что на балконе потемнело, когда кентурион, командующий особой кентурией, Марк, прозванный Крысобоем, предстал перед прокуратором.

Крысобой был на голову выше самого высокого из солдат легиона и настолько широк в плечах, что совершенно заслонил еще невысокое солнце.

Прокуратор обратился к кентуриону по-латыни:

– Преступник называет меня “добрый человек”. Выведите его отсюда на минуту, объясните ему, как надо разговаривать со мной. Но не калечить.

И все, кроме неподвижного прокуратора, проводили взглядом Марка Крысобоя, который махнул рукою арестованному, показывая, что тот должен следовать за ним...

Через минуту он вновь стоял перед прокуратором.

Прозвучал тусклый, больной голос:

– Имя?

– Мое? – торопливо отозвался арестованный, всем существом выражая готовность отвечать толково, не вызывать более гнева.

Прокуратор сказал негромко:

– Мое – мне известно. Не притворяйся более глупым, чем ты есть. Твое.

– Иешуа, – поспешно ответил арестант.

– Прозвище есть?

– Га-Ноцри.

– Откуда ты родом?

– Из города Гамалы, – ответил арестант, головой показывая, что там, где-то далеко, направо от него, на севере, есть город Гамала.

– Кто ты по крови?

– Я точно не знаю, – живо ответил арестованный, – я не помню моих родителей. Мне говорили, что мой отец был сириец...

– Где ты живешь постоянно?

– У меня нет постоянного жилища, – застенчиво ответил арестант, – я путешествую из города в город.

– Это можно выразить короче, одним словом – бродяга, – сказал прокуратор и спросил: – Родные есть?

– Нет никого. Я один в мире.

– Знаешь ли грамоту?

– Да.

– Знаешь ли какой-либо язык, кроме арамейского?

– Знаю. Греческий.

Вспухшее веко приподнялось, подернутый дымкой страдания глаз уставился на арестованного. Другой глаз остался закрытым.

Пилат заговорил по-гречески:

– Так ты собирался разрушить здание храма и призывал к этому народ?

Тут арестант опять оживился, глаза его перестали выражать испуг, и он заговорил по-гречески:

– Я доб... – тут ужас мелькнул в глазах арестанта оттого, что он едва не оговорился, – я, игемон, никогда в жизни не собирался разрушать здание храма и никого не подговаривал на это бессмысленное действие.

Удивление выразилось на лице секретаря, сторбившегося над низеньким столом и записывавшего показания. Он поднял голову, но тотчас же опять склонил ее к пергаменту.

– Множество разных людей стекаются в этот город к празднику. Бывают среди них маги, астрологи, предсказатели и убийцы, – говорил монотонно прокуратор, – а попадают и лгуны. Ты, например, лгун. Записано ясно: подговаривал разрушить храм. Так свидетельствуют люди.

– Эти добрые люди, – заговорил арестант и, торопливо прибавив: – игемон, – продолжал: – ничему не учились и все перепутали, что я говорил. Я вообще начинаю опасаться, что путаница эта будет продолжаться очень долгое время. И все из-за того, что он неверно записывает за мной...

Все еще скалясь, прокуратор поглядел на арестованного, затем на солнце, неуклонно подымающееся вверх над конными статуями гипподрома, лежащего далеко внизу направо, и вдруг в какой-то тошной муке подумал о том, что проще всего было бы изгнать с

балкона этого странного разбойника, произнося только два слова: “Повесить его”. Изгнать и конвой, уйти из колоннады внутрь дворца, велеть затемнить комнату, повалиться на ложе, потребовать холодной воды, жалобным голосом позвать собаку Банга, пожаловаться ей на гемикранию. И мысль об яде вдруг соблазнительно мелькнула в больной голове прокуратора.

Он смотрел мутными глазами на арестованного и некоторое время молчал, мучительно вспоминая, зачем на утреннем безжалостном ершалаимском солнцепеке стоит перед ним арестант с обезображенным побоями лицом, и какие еще никому не нужные вопросы ему придется задавать.

– Левий Матвей? – хриплым голосом спорил больной и закрыл глаза.

– Да, Левий Матвей, – донесся до него высокий, мучающий голос.

– А вот что ты все-таки говорил про храм толпе на базаре?

Голос отвечавшего, казалось, колот Пилату в висок, был невыразимо мучителен, и этот голос говорил:

– Я, игемон, говорил о том, что рухнет храм старой веры и создастся новый храм истины. Сказал так, чтобы было понятнее.

– Зачем же ты, бродяга, на базаре смущал народ, рассказывая про истину, о которой ты не имеешь представления? Что такое истина?

И тут прокуратор подумал: “О боги мои! Я спрашиваю его о чем-то ненужном на суде... Мой ум не служит мне больше...” И опять померещилась ему чаша с темной жидкостью. “Яду мне, яду!”

И вновь он услышал голос:

– Истина прежде всего в том, что у тебя болит голова, и болит так сильно, что ты малодушно помышляешь о смерти. Ты не только не в силах говорить со мной, но тебе трудно даже глядеть на меня. И сейчас я невольно являюсь палачом, что меня огорчает. Ты не можешь даже и думать о чем-нибудь и мечтаешь только о том, чтобы пришла твоя собака, единственное, по-видимому, существо, к которому ты привязан. Но мучения твои сейчас кончатся. Голова пройдет.

Секретарь вытаращил глаза на арестанта и не дописал слова.

Пилат поднял мучительные глаза на арестанта и увидел, что солнце уже довольно высоко стоит над гипподромом, что луч пробрался в колоннаду и подползает к стоптаным сандалиям Иешуа, что тот сторонится солнца.

Тут прокуратор приподнялся с кресла, сжал голову руками, и на желтоватом его бритом лице выразился ужас. Но он тотчас же подавил его своею волею и вновь опустился на кресло...

Теоретические положения

Литература как вид искусства относится к временным искусствам (наравне с музыкой), в которых изображение действительности носит процессуальный характер. Это изображение закреплено в слове, получившем письменное воплощение.

* _ *

У слова есть два содержания: одно, которое мы назвали объективным, а теперь можем назвать ближайшим этимологическим значением слова, всегда включает в себе один признак, другое – субъективное содержание, в котором может быть несколько признаков.

Потебня А.А. Мысль и язык.
В кн.: Потебня А.А. Эстетика и поэтика. – М., 1976. – С.14

* _ *

Особенности литературы как искусства слова:

1. Опора на художественную речь.
2. Универсализм.
3. Открытая проблемность.
4. Прямая процессуальность.
5. Невещественность художественных образов.

Природа художественной речи: способность к иносказанию, многозначность слова; употребление слова в переносном значении; существование слова в контексте всего произведения. В художественном слове любые формы речи могут быть образными, при этом слово воссоздает облик самого говорящего. В литературном произведении изобразительно-выразительные средства играют большую роль, чем в обиходной речи. При этом следует помнить, что художественное слово – отобранное слово: случайное в литературно обработанном тексте сведено к нулю.

Задача художественной речи – максимальное воздействие на аудиторию.

Универсализм литературы как особого вида искусства заключается в том, что она способна в своих произведениях воспроизвести любые стороны действительности – события, переживания, сам процесс мышления.

* _ *

“Поэзия... становится всеобщим искусством, способным в любой форме разрабатывать и высказывать любое содержание, которое может войти в фантазию”.

Гегель. Эстетика в 4-х т.т. – М., 1971. – Т.3. – С.347

* _ *

Открытая проблемность литературного произведения заключается в том, что конфликт, разрабатываемый художником, носит здесь демонстративный характер и получает свое развитие в системе пространственно-временных координат.

Проблемность – всеобщее свойство искусства, как образного способа познания действительности, однако, именно литературный текст обладает максимальной полной раскрытия жизненных противоречий в образной форме – в прямом столкновении действующих лиц, в открытой разработке конфликта.

С этим свойством литературного произведения связана и другая его особенность – способность воспроизводить процессы в их непосредственном развитии. Это положение относится как к изображению событий, так и к изображению процессов переживаний и процессов мыслительной деятельности.

При этом проявляется еще одна существенная черта литературного произведения – в отсутствии реального зрительного ряда: автор всегда ориентируется на воспринимающее сознание читателя, без которого немислимо образное восприятие текста.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ II

Художественное произведение как единое целое

(“Смерть чиновника” А.П. Чехова)

1. “Сущностное ядро” новеллы (материально–предметный мир – авторский замысел).
2. Система образов в новелле.
3. Способы выражения авторской точки зрения.

Л и т е р а т у р а

1. Бердников Г. А.П. Чехов – М., 1970. – С.32-43
2. Каган М.С. Лекции по марксистско-ленинской эстетике (Гл. “Художественное произведение”). – Л., 1971. С.467-483
3. Кройчик Л.Е. Поэтика комического в произведениях А.П. Чехова. – Воронеж, 1986. – С. 35-144
4. Родионова В.М. Художественная манера раннего Чехова // А.П. Чехов. – М., 1960. – С. 52-74.
5. Чудаков А.П. Поэтика Чехова. – М., 1971. – С.23-41.

СМЕРТЬ ЧИНОВНИКА

В один прекрасный вечер не менее прекрасный экзекутор, Иван Дмитриевич Червяков, сидел во втором ряду кресел и глядел в бинокль на “Корневильские колокола”. Он глядел и чувствовал себя на вершине блаженства. Но вдруг... В рассказах часто встречается это “но вдруг”. Авторы правы: жизнь так полна внезапностей! Но вдруг лицо его помор-

шилось, глаза подкатились, дыхание остановилось... он отвел от глаз бинокль, нагнулся и... апчхи!!! Чихнул, как видите. Чихать никому и нигде не возбраняется. Чихают и мужики, и полицеймейстеры, и иногда даже и тайные советники. Все чихают. Червяков нисколько не сконфузился, утерся платочком и, как вежливый человек, поглядел вокруг себя: не обеспокоил ли он кого своим чиханьем? Но тут уж пришлось сконфузиться. Он увидел, что старичок, сидевший впереди него, в первом ряду кресел, старательно вытирал свою лысину и шею перчаткой и бормотал что-то. В старичке Червяков узнал статского генерала Брижжалова, служащего по ведомству путей сообщения.

“Я его обрызгал! – подумал Червяков. – Не мой начальник, чужой, но все-таки неловко. Извиниться надо”.

Червяков кашлянул, подался туловищем вперед и зашептал генералу на ухо:

- Извините, ваше-ство, я вас обрызгал... я нечаянно...
- Ничего, ничего...
- Ради бога, извините. Я ведь... я не желал!
- Ах, сидите, пожалуйста! Дайте слушать!

Червяков сконфузился, глупо улыбнулся и начал смотреть на сцену. Глядел он, но уж блаженства больше не чувствовал. Его начало помучивать беспокойство. В антракте он подошел к Брижжалову, походил возле него и, поборовши робость, пробормотал:

- Я вас обрызгал, ваше-ство... Простите... Я ведь... не то чтобы...
- Ах, полноте... Я уж забыл, а вы все о том же! – сказал генерал и нетерпеливо шевельнул нижней губой.

“Забыл, а у самого ехидство в глазах, – подумал Червяков, подозрительно поглядывая на генерала. – И говорить не хочет. Надо бы ему объяснить, что я вовсе не желал... что это закон природы, а то подумает, что я плюнуть хотел. Теперь не подумает, так после подумает!...”

Придя домой, Червяков рассказал жене о своем невежестве. Жена, как показалось ему, слишком легкомысленно отнеслась к происшедшему; она только испугалась, а потом, когда узнала, что Брижжалов “чужой”, успокоилась.

– А все-таки ты сходи, извинись, – сказала она. – Подумает, что ты себя в публике держать не умеешь!

– То-то вот и есть! Я извинялся, да он как-то странно... Ни одного слова путного не сказал. Да и некогда было разговаривать.

На другой день Червяков надел новый вицмундир, подстригся и пошел к Брижжалову объяснить... Войдя в приемную генерала, он увидел там много просителей, а между

просителями и самого генерала, который уже начал прием прошений. Опросив несколько просителей, генерал поднял глаза и на Червякова.

– Вчера в “Аркадии”, ежели помните, ваше-ство, начал докладывать экзекутор, – я чихнул-с и... нечаянно обрызгал... Изв...

– Какие пустяки... Бог знает что! Вам что угодно? – обратился генерал к следующему просителю.

“Говорить не хочет! – подумал Червяков, бледнея. – Сердится, значит... Нет, этого нельзя так оставить... Я ему объясню...”

Когда генерал кончил беседу с последним просителем и направился во внутренние апартаменты, Червяков шагнул за ним и забормотал:

– Ваше-ство! Ежели я осмелюсь беспокоить ваше-ство; то именно из чувства, могу сказать, раскаяния!.. Не нарочно, сами изволите знать-с!

Генерал состроил плаксивое лицо и махнул рукой.

– Да вы просто смеетесь, милостисдарь! – сказал он, скрываясь за дверью.

“Какие же тут насмешки? – подумал Червяков. – Вовсе тут нет никаких насмешек! Генерал, а не может понять! Когда так, не стану же я больше извиняться перед этим фанфароном! Черт с ним! Напишу ему письмо, а ходить не стану! Ей-богу, не стану!”

Так думал Червяков, идя домой. Письма генералу он не написал. Думал, думал, и никак не выдумал этого письма. Пришлось на другой день идти самому объяснять.

– Я вчера приходил беспокоить ваше-ство, – забормотал он, когда генерал поднял на него вопрошающие глаза, – не для того, чтобы смеяться, как вы изволили сказать. Я извинялся за то, что, чихая, брызнул-с... а смеяться я и не думал. Смею ли я смеяться? Ежели мы будем смеяться, так никакого тогда, значит, и уважения к персонам... не будет...

– Пошел вон!! – гаркнул вдруг посиневший и затрясшийся генерал.

– Что-с? – спросил шепотом Червяков, млея от ужаса.

– Пошел вон!! – повторил генерал, затопав ногами.

В животе у Червякова что-то оторвалось. Ничего не видя, ничего не слыша, он попытался к двери, вышел на улицу и поплелся... Придя машинально домой, не снимая вицмундира, он лег на диван и... помер.

Теоретические положения

Литературное произведение – продукт целенаправленной деятельности автора. Оно обладает определенным уровнем завершенности и выразительности, целостностью, вытекающей из единства формы и содержания, и потому способно воздействовать на аудиторию на рациональном и эмоциональном уровне.

Как любое произведение искусства литературное произведение представляет собой взаимосвязь двух подсистем – закрытой материальной и открытой идеальной.

Закрытая материальная подсистема литературного произведения – его константная основа, его сущностное ядро. Его материальная оболочка включает в себя три составляющих; строительный материал (в данном случае – слово), предметный уровень или объект, воссоздаваемый в материале (тема, разработка конфликта, расстановка действующих лиц, композиция, особенности повествования, стилевое своеобразие) и идейный уровень – точку зрения автора, прямо или косвенно выраженную в тексте.

Открытая идеальная система – система образов произведения, определяемая фантазией художника, его мироощущением (первичный образ) и восприятием потребителем произведения искусства (вторичный образ).

* _ *

“Художественное произведение – это своеобразный квант неразложимая порция объективного содержания, логической информации, эмоциональной выразительности, эстетического совершенства и многих других составляющих его моментов.

Неповторимость, целостность и содержательность произведения оказываются не частными чертами реализации эстетического свойства, но собственно эстетическим свойством, предстающим как некая данность, как осуществленная эстетическая реальность”.

Гей Н. Знак и образ “Контекст – 73”. – М., 1974. – С. 294-296

* _ *

Любой эстетический объект – совокупность того, что существует материально и того, что воссоздается нашим воображением. Отсюда бинарность художественного произведения (в том числе – и литературного).

1. Оно существует как материальное и духовное явление.
2. Оно всегда социально и лично.

3. Оно представляет взаимодействие реального - конкретной предметной оболочки (артефакта, по Г.Н. Бахтину) - и идеального (системы образов, рождаемых воображением).
4. Оно соединяет в себе пластические образы и идеи.
5. Оно представляет собой целостность объективного и субъективного (реальность отражается в форме виртуального мира, созданного художником).
6. Оно является продуктом сознательного и подсознательного акта творчества художника (на уровне взаимосвязи целеполагания и интуиции).
7. Оно всегда индивидуально и всеобще.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ III

Тема и идея художественного произведения

(А. Платонов “Фро”)

1. Взаимосвязь темы и идеи в содержании художественного произведения.
2. Проблематика рассказа “Фро”.
3. Характеры героев рассказа как форма выражения идеи автора.

Л и т е р а т у р а

1. Коган М.С. Лекции по марксистско-ленинской эстетике. – Л., 1971. – С.467-488.
2. О хороших рассказах и редакторской рутине // Литературный критик. – 1936, №8.
3. Чалмаев В. Андрей Платонов. – М., 1989. – С.412-415.

ФРО

Он уехал далеко и надолго, почти безвозвратно. Паровоз курьерского поезда, удалившись, запел в открытом пространстве на расставание; провожающие ушли с пассажирской платформы обратно к оседлой жизни, появился носильщик со шваброй и начал убирать перрон, как палубу корабля, оставшегося на мели.

— Посторонитесь, гражданка! - сказал носильщик двум одиноким полным ногам.

Женщина отошла к стене, к почтовому ящику, и прочитала на нем сроки выемки корреспонденции: вынимали часто, можно писать письма каждый день. Она потрогала пальцем железо ящика, оно было прочное, ничья душа в письме не пропадет отсюда.

За вокзалом находился новый железнодорожный город: по белым стенам домов шевелились тени древесных листьев; вечернее летнее солнце освещало природу и жилища ясно и грустно, точно сквозь прозрачную пустоту, где не было воздуха для дыхания.

Накануне ночи в мире все было слишком отчетливо видно, ослепительно и призрачно, — он казался поэтому несуществующим.

Молодая женщина остановилась от удивления среди столь странного света; за двадцать лет прожитой жизни она не помнила такого опустевшего, сияющего, безмолвного пространства, она чувствовала, что в ней самой слабеет сердце от легкости воздуха,

от надежды, что любимый человек приедет обратно. Она увидела свое отражение в окне парикмахерской: наружность пошлая, волосы взбиты и положены волнами (такую прическу носили когда-то в девятнадцатом веке), серые, глубокие глаза глядят с напряженной, словно деланной нежностью, - она привыкла любить уехавшего, она хотела быть любимой им постоянно, непрерывно, чтобы внутри ее тела, среди обыкновенной, скучной души, томилась и произрастала вторая милая жизнь. Но сама она не могла любить, как хотела, — сильно и постоянно; она иногда уставала и тогда плакала от огорчения, что сердце ее не может быть неутомимым.

Она жила в новой трехкомнатной квартире; в одной комнате жил ее вдовый отец—паровозный машинист, в двух других помещалась она с мужем, который теперь уехал на Дальний Восток настраивать и пускать в работу таинственные электрические приборы. Он всегда занимался тайнами машин, надеясь посредством механизмов преобразовать весь мир для блага и наслаждения человечества или еще для чего-то, жена его точно не знала.

По старости лет отец ездил редко. Он числился резервным механиком, заменял заболевших людей, работая на обкатке паровозов, вышедших из ремонта, или водя, легко-весные составы ближнего сообщения. Год тому назад его попробовали перевести на пенсию. Старик, не зная, что это такое, согласился, но, прожив четыре дня на свободе, на пятый день вышел за семафор, сел на бугор в полосе отчуждения и просидел там до темной ночи, следя плачущими глазами за паровозами, тяжело бегущими во главе поездов. С тех пор он начал ходить на тот бугор ежедневно, чтобы смотреть на машины, жить сочувствием и воображением, а к вечеру являться домой усталым, будто вернувшись с тягового рейса. На квартире он мыл руки, вздыхал, говорил, что на девяти тысячном уклоне у одного вагона отвалилась тормозная колодка или еще случилось что-нибудь такое, затем робко просил у дочери вазелина, чтобы смазать левую ладонь, якобы натруженную о тугой регулятор, ужинал, бормотал и вскоре спал в блаженстве. Наутро отставной механик снова шел в полосу отчуждения и проводил очередной день в наблюдении, в слезах, в фантазии, в сочувствии, в неистовстве одинокого энтузиазма. Если, с его точки зрения, на идущем паровозе была неполадка или машинист вел машину не по форме, он кричал ему со своего высокого пункта осуждение и указание: “Воды перекачал! Открой кран, стервец! Продуй!”, “Песок береги: станешь на подъеме! Чего ты сыплешь его сдуру?”, “Подтяни фланцы, не теряй пара: что у тебя—машина или баня?” При неправильном составе поезда, когда легкие пустые платформы находились в голове и в середине поезда и могли быть задавлены при экстренном торможении, свободный механик грозил кулаком с бугра хвостовому кондуктору. А когда шла машина самого отставного машиниста и ее вел его бывший

помощник Вениамин, старик всегда находил наглядную неисправность в паровозе — при нем так не было — и советовал машинисту принять меры против его небрежного помощника: “Веньяминчик, Веньяминчик, брызни ему в морду!” — кричал старый механик с бугра своего отчуждения.

В пасмурную погоду он брал с собой зонт, а обед ему приносила на бугор его единственная дочь, потому что ей было жалко отца, когда он возвращался вечером худой, голодный и бешеный от неудовлетворенного рабочего вождения. Но недавно, когда устаревший механик, по обычаю, орал и ругался со своей возвышенности, к нему подошел парторг депо товарищ Пискунов; парторг взял старика за руку и отвел в депо. Конторщик депо снова записал старика на паровозную службу. Механик влез в будку одной холодной машины, сел у котла и задремал, истощенный собственным счастьем, обнимая одной рукою паровозный котел, как живот всего трудящегося человечества, к которому он снова приобщился.

— Фрося! — сказал отец дочери, когда она вернулась со станции, проводив мужа в дальний путь. — Фрося, дай мне из печки чего-нибудь пожевать, а то как бы меня ночью не вызвали ехать...

Он ежеминутно ожидал, что его вызовут в поездку, но его вызывали редко — раз в три-четыре дня, когда подбирался сборный, легковесный маршрут либо случалась другая нетрудная нужда. Все-таки отец боялся выйти на работу несатытым, неподготовленным, угрюмым, поэтому постоянно заботился о своем здоровье, бодрости и правильном пищеварении, расценивая сам себя как ведущий железный кадр.

— Гражданин механик! — с достоинством и членораздельно говорил иногда старик, обращаясь лично к себе, и многозначительно молчал в ответ, как бы слушая далекую овацию.

Фрося вынула горшок из духового шкапа и дала отцу есть. Вечернее солнце просвечивало квартиру насквозь, свет проникал до самого тела Фроси, в котором грелось ее сердце и непрерывно срабатывало текущую кровь и жизненное чувство. Она ушла в свою комнату. На столе у нее была детская фотография ее мужа: позже детства он, ни разу не снимался, потому что не интересовался собой и не верил в значение своего лица. На пожелтевшей карточке стоял мальчик с большой, младенческой головой, в бедной рубашке, в дешевых штанах и босой; позади него росли волшебные деревья и в отдалении находились фонтан и дворец. Мальчик глядел внимательно в еще малознакомый мир, не замечая позади себя прекрасной жизни на холсте фотографа. Прекрасная жизнь была в самом

этом мальчике с широким, воодушевленным и робким лицом, который держал в руках ветку травы, вместо игрушки, и касался земли доверчивыми голыми ногами.

Уже ночь наступила. Поселковый пастух пригнал на ночлег молочных коров из степи. Коровы мычали, просясь на покой к хозяевам; женщины, домашние хозяйки, уводили их ко двору, — долгий день остывал в ночь; Фрося сидела в сумраке, в блаженстве любви и памяти к уехавшему человеку. За окном, начав прямой путь в небесное счастливое пространство, росли сосны, слабые голоса каких-то ничтожных птиц напевали последние, дремлющие песни, сторожа тьмы, кузнечики, издавали свои короткие мирные звуки — о том, что все благополучно и они не спят и видят.

Отец спросил у Фроси, не пойдет ли она в клуб: там сегодня новая постановка, бой цветов и выступление затейников из кондукторского резерва.

— Нет, — сказала Фрося, — я не пойду. Я по мужу буду скучать.

— По Федьке? — произнес механик. — Он явится: пройдет один год, и он тут будет... Скучай себе, а то что ж! Я, бывало, на сутки, на двое уеду, твоя покойница мать и то скучала: мещанка была!

— А я вот не мещанка, а скучаю все равно! — с удивлением проговорила Фрося. — Нет, наверно, я тоже мещанка...

Отец успокоил ее:

— Ну, какая ты мещанка!.. Теперь их нет, они умерли давно. Тебе до мещанки еще долго жить и учиться нужно: те хорошие женщины были...

— Папа, ступай в свою комнату, — сказала Фрося. — Я тебе скоро ужинать дам, я сейчас хочу быть одна...

— Ужинать сейчас пора! — согласился отец. — А то кабы из депо вызывальщик не пришел: может, заболел кто, либо запьянствовал, или в семействе драма-шутка, мало ли что. Я тогда должен враз явиться: движение остановиться никогда не может!.. Эх, Федька твой на курьерском сейчас мчится, зеленые сигналы ему горят, на сорок километров вперед ему дорогу освобождают, механик далеко глядит, машину ему электричество освещает, — все как полагается!..

Старик мешкал уходить, топтался и бормотал свои слова дальше: он любил быть с дочерью или с другим человеком, когда паровоз не занимал его сердца и ума.

— Папа, ступай ужинать! — велела ему дочь; она хотела слушать кузнечиков, видеть ночные сосны за окном и думать про мужа.

— Ну, на дерьмо сошла! — тихо сказал отец и удалился прочь.

Накормив отца, Фрося ушла из дому. В клубе шло ликование. Там играла музыка, потом слышно было, как пел хор затейников из кондукторского резерва: “Ах ель, что за ель! Ну что за шишечки на ней!”, “Ту-ту-ту-ту: паровоз, ру-ру-ру-ру: самолет, пыр-пыр-пыр-пыр: ледокол... Вместе с нами нагибайся, вместе с нами подымайся, говори ту-ту, ру-ру, шевелися каждый горб, больше пластики, культуры, производство наша цель!..”

Публика в клубе шевелилась, робко бормотала и мучилась, ради радости, вслед за затейниками.

Фрося прошла мимо; дальше уже было пусто, начинались защитные посадки по сторонам главного пути. Издали, с востока, шел скорый поезд, паровоз работал на большой отсечке, машина с битвой брала пространство и светила со своего фронта вперед сияющим прожектором. Этот поезд встретил где-то курьерский состав, бегущий на Дальний Восток, эти вагоны видели его позже, чем рассталась Фрося со своим любимым человеком, и она теперь с прилежным вниманием разглядывала скорый поезд, который был рядом с ее мужем после нее. Она пошла обратно к станции, но пока она шла, поезд стоял и уехал; хвостовой вагон исчез во тьму, забывая про всех встречных и минувших людей. На перроне и внутри вокзала Фрося не увидела ни одного незнакомого, нового человека — никто из пассажиров не сошел со скорого поезда, не у кого было спросить что-нибудь про встречный курьерский поезд и про мужа. Может быть, кто-нибудь видел его и знает что!

Но в вокзале сидели лишь две старушки, ожидавшие полуночного поезда местного сообщения, и дневной мужик опять мел ей сор под ноги. Они всегда метут, когда хочется стоять и думать, — им никто не нравится.

Фрося отошла немного от метущего мужика, но он опять подбирался к ней.

— Вы не знаете, — спросила она его, — что, курьерский поезд номер второй, он благополучно едет? Он днем уехал от нас. Что, на станцию ничего не сообщали о нем?

— На перрон полагается выходить, когда поезд подойдет, — сказал уборщик. — Сейчас поездов не ожидается, идите в вокзал, гражданка... Постоянно тут публичность разная находится. Лежали бы дома на койках и читали газету. Нет, они не могут — надо посорить пойти...

Фрося отправилась по путям, по стрелкам—в другую”;

сторону от вокзала. Там было круглое депо товарных паровозов, углеподача, шлаковые ямы и паровозный круг. Высокие фонари ярко освещали местность, над которой бродили тучи пара и дыма: некоторые машины мощно сифонили, подымая пар для поездки, другие спускали пар, остужаясь под промывку.

Мимо Фроси прошли четыре женщины с железными совковыми лопатами, позади них шел мужчина — нарядчик или бригадир.

– Кого потеряла здесь, красавица? — спросил он у Фроси. — Потеряла — не найдешь, кто уехал — не вернется... Идем с нами транспорту помогать!

Фрося задумалась.

– Давай лопату!—сказала она.

– На тебе мою, — ответил бригадир и подал женщине инструмент. — Бабы! — сказал он прочим женщинам, — Ступайте становиться на третью яму, я буду на первой.

Он отвел Фросю на шлаковую яму, куда паровозы очищали свои топки, и велел работать, а сам ушел. В яме уже работали две женщины, выкидывая наружу горячий шлак. Фрося тоже спустилась к ним и начала трудиться, довольная, что с ней рядом находятся неизвестные подруги. От гари и газа дышать было тяжело, кидать шлак наверх оказалось нудно и несподручно, потому что яма была узкая и жаркая. Но зато в душе Фроси стало лучше: она здесь развлекалась, жила с людьми — подругами и видела большую, свободную ночь, освещенную звездами и электричеством. Любовь мирно спала в ее сердце; курьерский поезд далеко удалился, на верхней полке жесткого вагона спал, окруженный Сибирью, ее милый человек. Пусть он спит и не думает ничего! Пусть машинист глядит далеко вперед и не допустит крушения.

Вскоре Фрося и еще одна женщина вылезли из ямы. Теперь нужно было выкинутый шлак нагрузить на платформу. Швыряя гарь за борт платформы, женщины поглядывали друг на друга и время от времени говорили, чтоб отдохнуть и дышать воздухом.

Подруге Фроси было лет тридцать. Она зябла чего-то и поправляла или жалела на себе бедную одежду. Ее сегодня выпустили из ареста, она просидела там четыре дня по навету злого человека. Ее муж служит сторожем, он бродит с берданкой вокруг кооператива всю ночь, получает шестьдесят рублей в месяц. Когда она сидела, сторож плакал по ней и ходил к начальству просить, чтоб ее выпустили, а она жила до ареста с одним любовником, который рассказал ей нечаянно, под сердце (должно быть, от истомы или от страха), про свое мошенничество, а потом, видно, испугался и хотел погубить ее, чтоб не было ему свидетеля. Но теперь он сам попался, пускай уж помучается, а она будет жить с мужем на воле: работа есть, хлеб теперь продают, а одежду они вдвоем как-нибудь наживут.

Фрося сказала ей, что у нее тоже горе: муж уехал далеко.

– Уехал — не умер, назад возвратится!—утешительно сообщила Фросе ее рабочая подруга. — А я там, в аресте, заскучала, загорюнилась. Раньше не сидела, не привыкла,

если б сидела, тогда п горя мало. А я уж всегда невинная такая была, что власть меня не трогала... Вышла я оттуда, пришла домой, муж мой обрадовался, заплакал, а обнимать меня боится: думает, я преступница, важный человек. А я такая же, я доступная... А вечером ему на дежурство надо уходить, таково печально нам стало. Он берет берданку: “Пойдем, говорит, я тебя фруктовой водой угощу”. А у меня тоска идет, не проходит. Я ему велела сходить в буфет одному – пускай уж сладкой воды он один выпьет, а когда соберутся у нас деньги и отляжет от меня тюремная тоска, тогда мы ходим в буфет вдвоем. Сказала я ему, а сама пошла на пути, сюда работать. Может, думаю, балласт где подбивают, рельсы меняют, либо еще что. Хоть и ночное время, а работе всегда случается. Думаю, вот с людьми там побуду, сердцем отойду, опять спокойная стану. И правда, поговорила сейчас с тобой – как сестру двоюродную встретила... Ну давай платформу кончать — в конторе денег дадут, утром пойду хлеба куплю... Фрося! – крикнула она в шлаковую яму: там работала тезка верхней Фроси.—Много там осталось?

– Не, – ответила тамошняя Фрося, — тут малость поскребыши одни...

– Лезай сюда, — велела ей жена берданочного сторожа. — Кончим скорей, вместе расчет пойдем получать.

Вокруг них с шумом набирались сил паровозы – для дальнего пути, или наоборот — остывали на отдых, испуская в воздух свое дыхание.

Пришел нарядчик.

– Ну как, бабы? Кончили яму?.. Ага! Ну, валите в контору, я сейчас приду. А там – деньги получите, – там видно будет: кто в клуб танцевать, кто домой – детей починать! Вам делов много!

В конторе женщины расписались. Ефросинья Евстафьева, Наталья Букова и три буквы, похожие на слово “Ева”, с серпом и молотом на конце, вместо еще одной Ефросиньи, у которой был рецидив неграмотности. Они получили по три рубля двадцать копеек и пошли по своим дворам. Фрося Евстафьева и жена сторожа Наталья шли вместе. Фрося зазвала к себе домой новую подругу, чтобы умыться и почиститься.

Отец спал в кухне, на сундуке, вполне одетый, даже в толстом, зимнем пиджаке и в шапке со значком паровоза он ожидал внезапного вызова либо какой-то всеобщей технической аварии, когда он должен мгновенно появиться в середине бедствия.

Женщины тихо справились со своими делами, немного попудрились, улыбнулись и ушли. Сейчас уже поздно было, в клубе, наверно, начались танцы и бой цветов. Пока, муж Фроси спит в жестком вагоне вдалеке и его сердце все равно ничего не чувствует, не помнит, не любит ее, она точно одна на всем свете, свободная от счастья и тоски, и ей хоте-

лось сейчас немного потанцевать, послушать музыку, подержаться за руки с другими людьми. А утром, когда он проснется там один и сразу вспомнит ее, она, может быть, заплачет.

Две женщины бегом добежали до клуба. Прошел местный поезд: полночь, еще не очень поздно. В клубе играл самодеятельный джаз-оркестр. Фросю Евстафьеву сразу пригласил на тур вальса “Рио-Рита” помощник машиниста.

Фрося пошла в танце с блаженным лицом: она любила музыку, ей казалось, что в музыке печаль и счастье соединены неразлучно, как в истинной жизни, как в ее собственной душе. В танце она слабо помнила сама себя, она находилась в легком сне, в удивлении, и тело ее, не напрягаясь, само находило нужное движение, потому что кровь Фроси согревалась от мелодии.

– А бой цветов уже был? – тихо, часто дыша, спросила она у кавалера.

– Только недавно кончился. Почему вы опоздали? – многозначительно произнес помощник машиниста, точно он любил Фросю вечно и томился по ней постоянно.

– Ах, как жалко! – сказала Фрося.

– Вам здесь нравится? – спросил кавалер.

– Ну, конечно, да! – отвечала Фрося. – Здесь так прекрасно!

Наташа Букова танцевать не умела, она стояла в зале у стены и держала в руках шляпу своей ночной подруга.

В перерыве, когда отдыхал оркестр, Фрося и Наташа пили сидро и выпили две бутылки. Наташа только один раз была в этом клубе, и то давно. Она разглядывала чистое, украшенное помещение с кроткой радостью.

– Фрось, а Фрось! – прошептала она. – Что ж, при социализме-то все комнаты такие будут, ай нет?

– А какие же? Конечно, такие! – сказала Фрося. – Ну, может, немножко только лучше.

– Это бы ничего! – согласилась Наталья Букова. После перерыва Фрося танцевала опять. Ее пригласил теперь маневровый диспетчер. Музыка играла фокстрот “Мой бэби”, диспетчер держал крепко свою партнершу, стараясь прижаться своею щекою к прическе Фроси, но Фросю не волновала эта скрытая ласка, она любила далекого человека, сжато и глухо было ее бедное тело.

– Ну, как же вас зовут? – говорил кавалер среди танца ей на ухо. – Мне знакомо ваше лицо, я только забыл, кто ваш отец.

– Фро! – ответила Фрося.

– Фро?.. Вы не русская?

– Ну, конечно, нет!

Диспетчер размышлял.

– Почему же нет? Ведь отец ваш русский: Евстафьев!

– Неважно, — прошептала Фрося. — Меня зовут Фро!

Они танцевали молча. Публика стояла у стен и наблюдала танцующих. Танцевало всего три пары людей, остальные стеснялись или не умели. Фрося ближе склонила голову к груди диспетчера, он видел под своими глазами ее пышные волосы в старинной прическе, и эта ослабевшая доверчивость была ему мила и приятна. Он гордился перед народом. Он даже хотел ухитриться осторожно погладить ее голову, но побоялся публичной огласки. Кроме того, в публике находилась его сговоренная невеста, которая могла ему сделать потом увечье за близость с этой Фро. Диспетчер поэтому слегка отпрянул от женщины ради приличия, но Фро опять прилегла к его груди, к его галстуку, и галстук сдвинулся под тяжестью ее головы в сторону, а в сорочке образовалась ширинка с голым телом. В страхе и неудобстве диспетчер продолжал танец, ожидая, когда музыка кончит играть. Но музыка играла все более взволнованно и энергично, и женщина не отставала от своего обнимающего ее друга. Он почувствовал, что по его груди, оголившейся под галстуком, пробиваются щекочущие капли влаги – там, где растут у него мужественные волосы.

– Вы плачете? – испугался диспетчер.

– Немножко, – прошептала Фро. – Отведите меня к двери. Я больше не буду танцевать.

Кавалер, не сокращая танца, подвел Фросю к выходу, и она сразу вышла в коридор, где мало людей.

Наташа вынесла шляпу подруге. Фрося пошла домой, а Наташа направилась к складу кооператива, который сторожил ее муж. Рядом с тем складом был двор строительных материалов, а его караулила одна милостивая женщина, и Наташа хотела проверить, нет ли у ее мужа с той сторожихой тайной любви в симпатии.

На другой день утром Фрося получила телеграмму с сибирской станции, из-за Урала. Ей писал муж: “Дорогая Фро, я люблю тебя и вижу во сне”.

Отца не было дома. Он ушел в депо – посидеть и поговорить в красном уголке, почитать “Гудок”, узнать, как прошла ночь на тяговом участке, а потом зайти в буфет, чтобы выпить с попутным приятелем пивца и побеседовать кратко о душевных интересах.

Фрося не стала чистить зубы; она умылась еле-еле, поплескав немного водою в лицо, и больше не позаботилась о красоте своей наружности. Ей не хотелось тратить время на что-нибудь, кроме чувства любви, и в ней не было теперь женского прилежания к своему телу. Над потолком комнаты Фроси, на третьем этаже, все время раздавались короткие звуки губной гармоники, потом музыка утихла, но вскоре играла опять. Фрося просыпалась сегодня еще темным утром, потом она опять уснула, и тогда она тоже слышала над собой эту скромную мелодию, похожую на песню серой рабочей птички в поле, у которой для песни не остается дыхания, потому что сила ее тратится в труде. Там, наверху, жил маленький мальчик, сын токаря из депо. Отец, наверно, ушел на работу, мать стирает белье, – скучно, скучно ему. Не поев пищи, Фрося ушла на занятия — на курсы железнодорожной связи и сигнализации.

Ефросинья Евстафьева не была на курсах четыре дня, и по ней уже соскучились, наверно, подруги, а она шла к ним сейчас без желания. Фросе многое прощали на курсах за ее способность к учению, за ее глубокое понимание предмета технической науки; но она сама не знала ясно, как это у нее получается, – во многом она жила подражанием своему мужу, человеку, окончившему два технических института, который чувствовал машинные механизмы с точностью собственной плоти.

Вначале Фрося училась плохо. Ее сердце не привлекали катушки Пупина, релейные упряжки или расчет сопротивления железной проволоки. Но уста ее мужа однажды произнесли эти слова, и больше того – он с искренностью воображения, воплощающегося даже в темные, неинтересные машины, представил ей оживленную работу загадочных, мертвых для нее предметов и тайное качество их чуткого расчета, благодаря которому машины живут. Муж Фроси имел свойство чувствовать величину напряжения электрического тока, как личную страсть. Он одушевлял все, чего касались его руки или мысль, и поэтому приобретал истинное представление о течении сил в любом механическом устройстве и непосредственно ощущал страдальческое, терпеливое сопротивление машинного телесного металла.

С тех пор катушки, мостики Уитстона, контакторы, единицы светосилы стали для Фроси священными вещами, словно они сами были одухотворенными частями ее любимого человека; она начала понимать их и беречь в уме, как в душе. В трудных случаях Фрося, приходя домой, уныло говорила: “Федор, там — микрофарада и еще блуждающие токи, мне скучно”. Не обнимая жену после дневной разлуки, Федор сам превращался на время в микрофараду и в блуждающий ток. Фрося почти видела глазами то, что раньше лишь хотела и не могла понять. Это были такие же простые природные и влекущие пред-

меты, как разноцветная трава в поле. По ночам Фрося часто тосковала, что она только женщина и не может чувствовать себя микрофарадой, паровозом, электричеством, а Федор может, – и она осторожно водила пальцем по его горячей спине; он спал и не просыпался. Он всегда был почему-то весь горячий, странный, любил тратить деньги на пустяки, мог спать при шуме, ел одинаково всякую пищу – хорошую и невкусную, никогда не болел, собирался поехать в Южный советский Китай и стать там солдатом...

На курсах Евстафьева сидела теперь со слабой, рассеянной мыслью, ничего не усваивая из очередных лекций. Она с унынием рисовала с доски в тетрадь векторную диаграмму резонанса токов и с печалью слушала речь преподавателя о влиянии насыщения железа на появление высших гармоник. Федора не было; сейчас ее не прельщала связь и сигнализация, и электричество стало чуждым. Катушки Пупина, микрофаряды, уитстоновские мостики, железные сердечники засохли в ее сердце, а высших гармоник тока она не понимала нисколько: в ее памяти звучала все время однообразная песенка детской губной гармонии: “Мать стирает белье, отец на работе, не скоро придет, скучно, скучно одному”.

Фрося отстала вниманием от лекции и писала себе в тетрадь свои мысли: “Я глупа, я жалкая девчонка, Федя, приезжай скорей, я выучу связь и сигнализацию, а то умру, похоронишь меня и уедешь в Китай”.

Дома отец сидел обутый, одетый и в шапке. Сегодня – его вызовут в поездку обязательно, он так предполагал.

– Пришла? – спросил он у дочери; он рад был, когда кто-нибудь приходил в квартиру; он слушал все шаги по лестнице, точно постоянно ожидал необыкновенного гостя, несущего ему счастье, вшитое в шапку. – Тебе каши с маслом не подогреть? – спрашивал отец. – Я живо.

Дочь отказалась.

– Ну колбаски поджарю!

– Нет! — сказала Фрося.

Отец ненадолго умолкал, потом опять спрашивал, но более робко:

– Может, чайку с сушками выпьешь? Я ведь враз согрею...

Дочь молчала.

– А макароны вчерашние!.. Они целы, я их тебе оставил...

Да отстань ты, наконец! – говорила Фрося. — Хоть бы тебя на Дальний Восток командировали...

– Просился – не берут, говорят – стар, зрение неважное, – объяснял отец.

Он боялся, что Фрося сейчас уйдет в свою комнату, а ему хотелось, чтобы она по-была с ним и поговорила, и старый человек искал повода задержать около себя Фросю.

– Что ж ты сегодня себе губки во рту не помазала? – спросил он. – Иль помада вся вышла? Так я сейчас куплю, сбегаю в аптеку...

У Фроси показались слезы в ее серых глазах, и она ушла к себе в комнату. Отец остался один; он начал прибираться на кухне и возиться по хозяйству, потом сел на корточки, открыл дверку духового шкафа, спрятал туда голову и там заплакал над сковородкой с макаронами.

В дверь постучали. Фрося не вышла открывать. Старик вынул голову из духовки, все тряпки висели грязные, он вытер лицо о веник и пошел отворять дверь.

Пришел вызывальщик из депо.

– Расписывайся, Нефед Степанович: сегодня тебе в восемь часов явиться – поедешь сопровождать холодный паровоз в капитальный ремонт. Прицепят к триста десятому сборному, харчей возьми и одежду, ране недели не обернешься...

Нефед Степанович расписался в книге, вызывальщик ушел. Старик открыл свой железный сундучок; там уже лежал еще вчерашний хлеб, лук и кусок сахара. Механик добавил туда осьмушку пшена, два яблока, подумал и запер дорожный сундучок на громадный всякий замок.

Затем он осторожно постучал в дверь комнаты Фроси.

– Дочка!.. Закрой за мной, я в рейс поехал – недели на две. Дали паровоз серии “Ща”: он холодный, но ничего.

Фрося вышла не сразу, когда отец уже ушел, и закрыла дверь квартиры.

“Играй! Отчего ты не играешь?” — шептала Фрося вверх, где жил мальчик с губной гармоникой. Но он отправился, наверно, гулять – стояло лето, шел долгий день, ветер успокаивался на вечер среди сонных, блаженных сосен. Музыкант был еще мал, он еще не выбрал из: всего мира что-нибудь единственное для вечной любви, его сердце билось пустым и свободным, ничего не похищая для одного себя из добра жизни.

Фрося открыла окно, легла на большую постель и задремала. Слышно было, как слабо поскрипывали стволы сосен от верхнего течения воздуха и трещал один дальний кузнечик, не дождавшись времени тьмы.

Фрося пробудилась; еще светло на свете, надо было вставать жить. Она засмотрелась на небо, полное греющего тепла, покрытое живыми следами исчезающего солнца, словно там находилось счастье, которое было сделано природой из всех своих чистых сил, чтобы счастье от нее, снаружи проникло внутрь человека.

Меж двух подушек Фрося нашла короткий волос; он мог принадлежать только Федору. Она рассмотрела волос на свет, он был седой: Федору шел уже двадцать девятый год, и у него росли седые волосы, штук двадцать. Отец тоже седой, но он никогда даже близко не подходил к их постели. Фрося пригнулась к подушке, на которой спал Федор, – она еще пахла его телом, его головой, наволочку не мыли с тех пор, как в последний раз поднялась с нее голова мужа. Фрося уткнулась лицом в подушку Федора и затихла.

Наверху, на третьем этаже, вернулся мальчик и заиграл на губной гармонике – ту же музыку, которую он играл сегодня темным утром. Фрося встала и спрятала волос мужа в пустую коробочку на своем столе. Мальчик перестал играть: ему пора спать – он ведь рано встает – или он занялся с отцом, пришедшим с работы, и сидит у него на коленях. Мать его колет сахар щипцами и говорит, что надо прикупить белья, старое износилось и рвется, когда его моешь. Отец молчит, он думает: обойдемся так.

Весь вечер Фрося ходила по путям станции, ближним рощам и по полям, заросшим рожью. Она побывала около шлаковой ямы, где вчера работала, – шлаку опять было почти полно, но никто не работал. Наташа Букова жила неизвестно где – ее вчера Фрося не спросила; к подругам и знакомым она идти не хотела, ей было чего-то стыдно перед всеми людьми, — говорить с другими о своей любви она не могла, а прочая жизнь стала для нее неинтересна и мертва. Она прошла мимо кооперативного склада, где одинокий муж Наташи ходил с берданкой. Фрося хотела ему дать несколько рублей, чтобы он выпил завтра с женою фруктовой воды, но постеснялась.

– Проходите, гражданка! Здесь нельзя находиться: здесь склад – казенное место, – сказал ей сторож, когда Фрося остановилась и нащупывала деньги где-то в скважинах своей куртки.

Далее складов лежали запустелые, порожние земли, там росла какая-то небольшая, жесткая, злостная трава. Фрося пришла в то место и постояла в томлении среди мелкого мира худой травы, откуда, казалось, до звезд было километра два.

– Ах, Фро, Фро, хоть бы обнял тебя кто-нибудь!— сказала она себе.

Возвратившись домой, Фрося сразу легла спать, потому что мальчик, игравший на губной гармонике, уже спал давно и кузнечики тоже перестали трещать. Но ей что-то мешало уснуть. Фрося огляделась в сумраке и пригнулась: ее беспокоила подушка, на которой рядом с ней спал когда-то Федор. От подушки все еще исходил тлеющий земляной запах теплого, знакомого тела, и от этого запаха в сердце Фроси начиналась тоска. Она завернула подушку Федора в простыню и спрятала ее в шкаф, а потом уснула одна, по-сиротски.

На курсы связи и сигнализации Фрося больше не пошла, – все равно ей наука теперь стала непонятна. Она жила дома и ожидали письма или телеграммы от Федора, боясь, что почтальон унесет письмо обратно, если не застанет никого дома. Однако минуло уже четыре дня, потом шесть, а Федор не присылал никакой вести, кроме первой телеграммы.

Отец вернулся из рейса, отведав холодный паровоз; он был счастливый, что поездил и потрудился, что видел много людей, дальние станции и различные происшествия; теперь ему надолго хватит что вспомнить, подумать и рассказать. Но Фрося его не спросила ни о чем; тогда отец начал рассказывать ей сам – как шел холодный паровоз и приходилось не спать по ночам, чтобы слесари попутных станций не сняли с машины деталей: где продают дешевые ягоды, а где их весной морозом побил. Фрося ему ничего не отвечала, и даже когда Нефед Степанович говорил ей про маркизет и про искусственный шелк в Свердловске, дочь не поинтересовалась его словами. “Фашистка она, что ль? – подумал про нее отец. – Как же я ее зачал от жены? Не помню!”

Не дождавшись ни письма, ни телеграммы от Федора, Фрося поступила работать в почтовое отделение письмоносецем. Она думала, что письма, наверно, пропадают, и поэтому сама хотела носить их всем адресатам в целости. А письма Федора она хотела получать скорее, чем принесет их к ней посторонний, чужой письмоносец, и в ее руках они не пропадут. Она приходила в почтовую экспедицию раньше других письмоносецев – еще не играл мальчик на губной гармонике на верхнем этаже – и добровольно принимала участие в разборке и распределении корреспонденции. Она прочитывала адреса всех конвертов, приходивших в поселок, – Федор ничего ей не писал. Всей конверты назначались другим людям, и внутри конвертов лежали какие-то неинтересные письма. Все-таки Фрося аккуратно, два раза в день, разносила письма по домам, надеясь, что в них лежит утешение для местных жителей. На утренней заре она быстро шла по улице поселка с тяжелой сумкой на животе, как беременная, стучала в двери и подавала письма и бандероли людям в подштанниках, оголенным женщинам и небольшим детям, проснувшимся прежде взрослых. Еще темно-синее небо стояло над окрестной землей, а Фрося уже работала, спеша утомить ноги, чтобы устало ее тревожное сердце. Многие адресаты интересовались ею по существу жизни и при получении корреспонденции задавали бытовые вопросы: “За девяносто два рубля в месяц работаете?” – “Да, – говорила Фрося. – Это с вычетами”. Один получатель журнала “Красная новь” предложил Фросе выйти за него замуж – в виде опыта: что получится, может быть, счастье будет, а оно полезно. “Как вы на это реагируете? – спросил подписчик. “Подумаю”, – ответила Фрося. “А вы не думайте! – советовал адресат. –

Вы приходите ко мне в гости, почувствуйте сначала меня: я человек нежный, читающий, культурный – вы же видите, на что я подписываюсь! Это журнал, он выходит под редакцией редколлегии, там люди умные, вы видите, и там не один человек, и мы будем двое! Это же все солидно, и у вас, как у замужней женщины, авторитета будет больше!.. А девушка – это что, одиночка, антиобщественница какая-то!”

Много людей узнала Фрося, стоя с письмом или пакетом у чужих дверей. Ее пытались угощать вином и закуской, и ей жаловались на свою частную, текущую судьбу. Жизнь нигде не имела пустоты и спокойствия.

Уезжая, Федор обещал Фросе сразу же сообщить адрес своей работы: он сам не знал точно, где он будет находиться. -Но вот уже прошло четырнадцать дней со времени его отъезда, а от него нет никакой корреспонденции, и ,ему некуда писать. Фрося терпела эту разлуку, она все более скоро разносила почту, все более часто дышала, чтобы занять сердце посторонней работой и утомить его отчаяние. Но однажды она нечаянно закричала среди улицы – во время второй почты. Фрося не заметила, как в ее груди внезапно сжалось дыхание, закатилось сердце, и она протяжно закричала высоким, поющим голосом. Ее видели прохожие люди. Опомнясь, Фрося тогда убежала в поле вместе с почтовой сумкой, потому что ей трудно стало терпеть свое пропадающее, пустое дыхание; там она упала на землю и стала кричать, пока сердце ее не прошло.

Фрося села, оправила на себе платье и улыбнулась, ей было теперь опять хорошо, больше кричать не надо. После разноски почты Фрося зашла в отделение телеграфа, там ей передали телеграмму от Федора с адресом и поцелуем. Дома она сразу, не приняв пищи, стала писать письмо мужу. Она не видела, как кончился день за окном, не слышала мальчика, который играл перед сном на своей губной, гармонии. Отец, постучавшись, принес дочери стакан чаю, булку с маслом и зажег электрический свет, чтобы Фрося не портила глаза в сумраке.

Ночью Нефед Степанович задремал в кухне на сундуке. Его уже шесть дней не вызывали в депо – он полагал, что в сегодняшнюю ночь ему не миновать поездки, и ожидал шагов вызывальщика на лестнице.

В час ночи в кухню вошла Фрося со сложенным листом бумаги в руке.

– Папа!

– Ты что, дочка? – Старик спал слабо и чутко.

– Отнеси телеграмму на почту, а то я устала.

– А вдруг я уйду, а вызывальщик придет? – испугался отец.

– Обождет, – сказала Фрося. – Ты ведь недолго будешь ходить. Только ты сам не читай телеграммы, а отдай ее там в окошко.

– Не буду, – обещал старик. – А ты же письмо писала, давай заодно отнесу.

– Тебя не касается, что я писала... У тебя деньги есть?

У отца деньги были, он взял телеграмму и отправился. В почтово-телеграфной конторе старик прочитал телеграмму. “Мало ли что, – решил он, – может, дочка заблуждение пишет, надо поглядеть”.

Телеграмма назначалась Федору на Дальний Восток:

“Выезжай первым поездом твоя жена дочь Фрося умирает при смерти осложнение дыхательных путей отец Нефед Евстафьев”.

“Их дело молодое!” – подумал Нефед Степанович и отдал телеграмму в приемное окно.

– А я ведь видела сегодня Фросю! – сказала телеграфная служащая. — Неужели она заболела?

– Стало быть, так, — объяснил машинист.

Утром Фрося велела отцу опять идти на почту – отнести ее заявление, что она добровольно увольняется с работы вследствие болезненного состояния здоровья. Старик пошел опять, ему все равно в депо хотелось идти.

Фрося принялась чинить белье, штопать носки, мыть полы и убирать квартиру и никуда не ходила из дому.

Через двое суток пришел ответ “молнией”: “Выезжаю беспокоюсь мучаюсь не хороните без меня Федор”.

Фрося точно сосчитала время приезда мужа, и на седьмой день после получения телеграммы она ходила по перрону вокзала, дрожащая и веселая. С востока без опоздания прибывал транссибирский экспресс. Отец Фроси находился тут же, на перроне, но держался в отдалении от дочери, чтобы не мешать ее настроению.

Механик экспресса подвел поезд к станции с роскошной скоростью и мягко, нежно посадил состав на тормоза. Нефед Степанович, наблюдая эту вещь, немного проследил, позабыв даже, зачем он сюда пришел.

Из поезда на этой станции вышел только один пассажир. Он был в шляпе, в длинном синем плаще, запавшие глаза его блестели от внимания. К нему подбежала женщина.

– Фро! – сказал пассажир и бросил чемодан на перрон.

Отец потом поднял этот чемодан и понес его следом за дочерью и зятем.

На полдороге дочь обернулась к отцу.

– Папа, ступай в депо, попроси, чтобы тебе поездку дали, – тебе ведь скучно все время дома сидеть...

– Скучно, – согласился старик. – Сейчас пойду. Возьми у меня чемодан.

Зять глядел на старого машиниста.

– Здравствуйте, Нефед Степанович!

– Здравствуй, Федя! С приездом!

– Спасибо, Нефед Степанович... Молодой человек хотел еще что-то сказать, но старик передал чемодан Фросе и ушел в сторону, в депо.

– Милый, я всю квартиру прибрала, – говорила Фрося. – Я не умирала.

– Я догадался в поезде, что ты не умирала, – отвечал муж. – Я верил твоей телеграмме недолго...

– А почему же ты тогда приехал? – удивилась Фрося.

– Я люблю тебя, я соскучился, – грустно сказал Федор.

Фрося опечалилась.

– Я боюсь, что ты меня разлюбишь когда-нибудь, и тогда я вправду умру...

Федор поцеловал ее сбоку в лицо.

– Если умрешь, ты тогда всех забудешь, и меня, – сказал он.

Фрося оправилась от горя.

– Нет, умирать неинтересно. Это пассивность.

– Конечно, пассивность, – улыбнулся Федор: он любил ее высокие, ученые слова.

Раньше Фро даже специально просила, чтобы он научил её умным фразам, и он писал ей целую тетрадь умных и пустых слов: “Кто сказал “а”, должен говорить “б”, “Камень, положенный во главу угла”, “Если это так, а это именно так” — и тому подобное. Но Фро догадалась про обман. Она спросила его: “А зачем после буквы “а” обязательно говорить “б”? А если не надо и я не хочу?”

Дома они сразу легли отдыхать и уснули. Часа через три постучал отец. Фрося открыла ему и подождала, пока старик наложил в железный сундучок харчей и снова ушел. Его, наверное, назначили в рейс. Фрося закрыла дверь и опять легла спать. Проснулись они уже ночью. Они поговорили немного, потом Федор обнял Фро, и они умолкли до утра.

На следующий день Фрося быстро приготовила обед, накормила мужа и сама поела. Она делала сейчас все кое-как, нечисто, невкусно, но им обоим было все равно, что

есть и что пить, лишь бы не терять на материальную, постороннюю нужду время своей любви.

Фрося рассказывала Федору о том, что она теперь начнет хорошо и прилежно учиться, будет много знать, будет трудиться, чтобы в стране жилось всем людям *ещё* лучше.

Федор слушал Фро, затем подробно объяснял ей свои мысли и проекты – о передаче силовой энергии без проводов, посредством ионизированного воздуха, об увеличении прочности всех металлов через обработку их ультразвуковыми волнами, о стратосфере на высоте в сто километров, где есть особые световые, тепловые и электрические условия, способные обеспечить вечную жизнь человеку, — поэтому мечта древнего мира о небе теперь может быть исполнена, и многое другое обещал обдумать и сделать Федор ради Фроси и заодно ради всех остальных людей.

Фрося слушала мужа в блаженстве, приоткрыв уже усталый рот. Наговорившись, они обнимались – они хотели быть счастливыми немедленно, теперь же, раньше, чем их будущий усердный труд даст результаты для личного и всеобщего счастья. Ни одно сердце не терпит отлагательства, оно болит, оно точно ничему не верит. Заспав утомление от мысли, беседы и наслаждения, они просыпались снова свежими, готовые к повторению жизни. Фрося хотела, чтобы у нее народились дети, она их будет воспитывать, они вырастут и доделают дело своего отца – дело коммунизма и науки. Федор в страсти воображения шептал Фросе слова о таинственных силах природы, которые дадут богатство человечеству, о коренном изменении жалкой души человека... Затем они целовались, ласкали друг друга, и благородная мечта их превращалась в наслаждение, точно сразу же осуществляясь.

По вечерам Фрося выходила из дому ненадолго и закупала продовольствие для себя и мужа – у них обоих все время увеличивался теперь аппетит. Они прожили не различаясь уже четверо суток. Отец до сих пор еще не возвратился из поездки: наверно, опять повел далеко холодный паровоз.

Еще через два дня Фрося сказала Федору, что вот и они еще побудут так вместе немножко, а потом, надо за дело и за жизнь приниматься.

– Завтра же или послезавтра мы начнем с тобою жить по-настоящему! – говорил Федор и обнимал Фро.

– Послезавтра! – шепотом соглашалась Фро.

На восьмой день Федор проснулся печальным.

– Фро! Пойдем трудиться, пойдем жить, как нужно... Тебе надо опять на курсы связи поступить.

– Завтра! – прошептала Фро и взяла голову мужа в свои руки.

Он улыбнулся ей и смирился.

– Когда же, Фро? – спрашивал Федор на следующий день.

– Скоро, скоро, – отвечала дремлющая, кроткая Фро; руки ее держали его руку, он поцеловал ее в лоб.

Однажды Фрося проснулась поздно, день давно разгорелся на дворе. Она была одна в комнате, шел, наверно, десятый или двенадцатый день ее неразлучного свидания с мужем. Фрося сразу поднялась с постели, отворила настежь окно и услышала губную гармонику, которую она совсем забыла. Гармония играла не наверху. Фрося поглядела в окно. Около сарая лежало бревно, на нем сидел босой мальчик с большой, детской головой и играл на губной музыке.

Во всей квартире было тихо и странно. Федор куда-то отлучился. Фрося вышла на кухню. Там сидел отец на табуретке и дремал, положив голову в шапке на кухонный стол. Фрося разбудила его.

– Ты когда приехал?

– А? – воскликнул старик. – Сегодня, рано утром.

– А кто тебе дверь отворил? Федор?

– Никто, – сказал отец, – она была открыта. Меня Федор на вокзале нашел, я там спал на лавке.

– А почему ты спал на вокзале? Что у тебя – места нету? – рассердилась Фрося.

– А что! Я там привык, – говорил отец. – Я думал, мешать вам буду...

– Ну, уж ладно, ханжа! А где Федор? Когда он явится?

Отец затруднился.

– Он не явится, – сказал старик, – он уехал.

Фро молчала перед отцом. Старик внимательно глядел на кухонную ветошку и продолжал:

– Утром курьерский был, он сел и уехал на Дальний Восток. “Может, говорит, потом в Китай проберусь, неизвестно”.

– А еще что он говорил? – спросила Фрося.

– Ничего, – ответил отец. – Велел мне идти к тебе домой и беречь тебя. Как, говорит, поделает все дела, так либо сюда вернется, либо тебя к себе выпишет.

– Какие дела? – узнавала Фрося.

– Не знаю, – произнес старик. – Он сказал, ты все знаешь: коммунизм, что ль, или еще что-нибудь!

Фро оставила отца. Она ушла к себе в комнату, легла животом на подоконник и стала глядеть на мальчика, как он играет на губной гармонии.

– Мальчик! – позвала она. – Иди ко мне в гости!

– Сейчас, – ответил гармонист. Он встал с бревна, вытер свою музыку о подол рубашки и направился в дом, в гости.

Фро стояла среди большой комнаты, в ночной рубашке. Она улыбалась в ожидании гостя.

– Прощай, Федор!

Может быть, она глупа, может быть, ее жизнь стоит две копейки и не нужно ее любить и беречь, но зато она одна знает, как две копейки превратить в два рубля.

– Прощай Федор! Ты вернешься ко мне, и я тебя дождусь!

В наружную дверь робко постучал маленький гость. Фрося впустила его, села перед ним на пол, взяла руки ребенка в свои руки и стала любоваться музыкантом: этот человек, наверно, и был тем человечеством, о котором Федор говорил ей милые слова.

1936

Тема и идея художественного произведения

Тема – круг жизненных явлений, изображаемых в произведении; все то, что стало предметом авторского осмысления, и оценки. Являясь фундаментальной основой художественного произведения, тема скрепляет все элементы конструкции текста. она связана как с идеей произведения, так и с проблемами познаваемой автором действительности.

В литературоведении выделяют онтологические темы, являющиеся константами человеческого бытия, антропологические темы, выявляющие нравственно-этические аспекты реальной жизни; локальные темы, сориентированные на воспроизведение культурно-исторических и бытовых аспектов действительности.

Раскрытие темы художественного произведения – путь к раскрытию характеров персонажей, о которых повествует автор.

Тематический репертуар художественной литературы предопределен характером и уровнем познания действительности автором.

* _ *

Хорошо придуманной истории незачем походить на действительную жизнь; жизнь изо всех сил старается походить на хорошо придуманную реальность.

И. Бабель

* _ *

Поэт выше историка, он очищает историю от случайного.

Аристотель

* _ *

Доминанта искусства – смоделированная (виртуальная) картина мира, поэтому тема художественного произведения – это не просто внехудожественная реальность, а мир, преобразенный художником; явление жизни, запечатленное в произведении в виде характерных ее особенностей – характеров, событий, явлений, отражающих суть происходящих процессов.

Поэтому художественное произведение представляет собой соединение как эксплицитного (прямого, текстового) воспроизведения жизненных реалий, так эмплитного (надтекстового) их воспроизведения (на уровне подразумевания).

Поскольку автор в художественном произведении выступает носителем определенного представления о реальности, постольку тематический срез произведения тесно связан с его идеей. Идея – мысль автора, в которой выражено отношение автора к описываемому.

В художественном тексте идея может быть выражена прямо (в виде размышлений автора) и косвенно (в картинах, в образах, в поступках и переживаниях персонажей).

Идея – вывод из произведения.

* _ *

Надо, чтобы с идеями не таскались по сцене, а чтобы с идеями уходили из театра.

В. Маяковский

* _ *

Идея живет в произведении в качестве ведущей тенденции (т.е. определенной смысловой направленности). Тенденциозность особо свойственна комической литературе, поскольку целеполагание автора в ней, зашифрованное сложным кодом заострения, требует постоянной апелляции к читательскому восприятию текста, адекватному авторскому замыслу.

Идейное содержание произведения тесно связано с тематикой и проблематикой его: процессы, события и характеры, ставшие предметом исследования художника, полу-

чившие его оценку и осмысленные им, рассматриваются в круге вопросов, требующих своего разрешения, что определяет проблематику вещи.

* _ *

Не дело художника решать узкоспециальные вопросы. Дурно, если художник берется за то, чего не понимает <...> Художник наблюдает, выбирает, догадывается, компонуется – уже одни эти действия предполагают в своем начале вопрос, если с самого начала не задал себе вопроса, то не о чем догадываться и нечего выбирать.

Из письма А.П. Чехова А.С. Суворину

27 октября 1888 г.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ IV

Пафос художественного произведения

(И. Бунин “Легкое дыхание”)

1. Понятие о пафосе.
2. Пафос рассказа И. Бунина “Легкое дыхание”.
3. Система средств, определяющих пафос рассказа “Легкое дыхание”.

Л и т е р а т у р а

1. Выготский Л.С. Психология искусства (гл. “Легкое дыхание”) – М., 1965.
2. Гейдеко В. Чехов и Бунин. – М., 1976.
3. Келдыш В.А. Русский реализм начала 20 в. – М., 1975.
4. Михайлов О.Н. Путь Бунина-художника. Литературное наследство. – М., 1976. – Т.84. кн.1.

ЛЕГКОЕ ДЫХАНИЕ

На кладбище, над свежей глиняной насыпью стоит новый крест из дуба, крепкий, тяжелый, гладкий.

Апрель, дни серые; памятники кладбища, просторного, уездного, еще далеко видны сквозь голые деревья, и холодный ветер звенит фарфоровым венком у подножия креста. В самый же крест вделан довольно большой, выпуклый фарфоровый медальон, а в медальон – фотографический портрет гимназистки с радостными, поразительно живыми глазами.

Это Оля Мещерская.

Девчонкой она ничем не выделялась в толпе коричневых гимназических платьиц: что можно было сказать о ней, кроме того, что она из числа хорошеньких, богатых и счастливых девочек, что она способна, но шаловлива и очень беспечна к тем наставлениям, которые ей делает классная дама? Затем она стала расцветать, развиваться не по дням, а по часам. В четырнадцать лет у нее, при тонкой талии и стройных ножках, уже хорошо обрисовывались груди и все те формы, очарование которых еще никогда не выразило человеческое слово; в пятнадцать она слыла уже красавицей. Как тщательно причесывались некоторые ее подруги, как чистоplotны были, как следили за своими сдержанными дви-

жениями! А она ничего не боялась – ни чернильных пятен на пальцах, ни раскрасневшегося лица, ни растрепанных волос, ни заголившегося при падении на бегу колена. Без всяких ее забот и усилий и как-то незаметно пришло к ней все то, что так отличало ее в последние два года из всей гимназии, – изящество, нарядность, ловкость, ясный блеск глаз... Никто не танцевал так на балах, как Оля Мещерская, никто не бегал так на коньках, как она, ни за кем на балах не ухаживали столько, сколько за ней, и почему-то никого не любили так младшие классы, как ее. Незаметно стала она девушкой, и незаметно упрочилась ее гимназическая слава, и уже пошли толки, что она ветрена, не может жить без поклонников, что в нее безумно влюблен гимназист Шеншин, что будто бы и она его любит, но так изменчива в обращении с ним, что он покушался на самоубийство...

Последнюю свою зиму Оля Мещерская совсем сошла с ума от веселья, как говорили в гимназии. Зима была снежная, солнечная, морозная, рано опускалось солнце за высокий ельник снежного гимназического сада, неизменно погожее, лучистое, обещающее и на завтра мороз и солнце, гулянье на Соборной улице, каток в городском саду, розовый ветер, музыку и эту во все стороны скользящую на катке толпу, в которой Оля Мещерская казалась самой беззаботной, самой счастливой. И вот, однажды, на большой перемене, когда она вихрем носилась по сборному залу от гонявшихся за ней и блаженно визжавших первоклассниц, ее неожиданно позвали к начальнице. Она с разбегу остановилась, сделала только один глубокий вздох, быстрым и уже привычным женским движением оправила волосы, дернула уголки передника к плечам и сияя глазами, побежала наверх. Начальница, моложавая, но седая, спокойно сидела с вязаньем в руках за письменным столом, под царским портретом.

– Здравствуйте, mademoiselle Мещерская, – сказала она по-французски, не поднимая глаз от вязанья. – Я, к сожалению, уже не в первый раз принуждена призывать вас сюда, чтобы говорить с вами относительно вашего поведения.

– Я слушаю, madame, – ответила Мещерская, подходя к столу, глядя на нее ясно и живо, но без всякого выражения на лице, и присела так легко и грациозно, как только она одна умела.

– Слушать вы меня будете плохо, я, к сожалению, убедилась в этом, – сказала начальница и, потянув нитку и завертев на лакированном полу каблук, на который с любопытством посмотрела Мещерская, подняла глаза. – Я не буду повторяться, не буду говорить пространно, – сказала она.

Мещерской очень нравился этот необыкновенный чистый и большой кабинет, так хорошо дышавший в морозные дни теплом блестящей голландки и свежестью ландышей

на письменном столе. Она посмотрела на молодого царя, во весь рост написанного среди какой-то блистательной залы, на ровный пробор в молочных, аккуратно гофрированных волосах начальницы и выжидательно молчала.

– Вы уже не девочка, – многозначительно сказала начальница, втайне начиная раздражаться.

– Да, madame, – просто, почти весело ответила Мещерская.

– Но и не женщина, – еще многозначительнее сказала начальница, и ее матовое лицо слегка заалело. – Прежде всего, что это за прическа? Это женская прическа!

– Я не виновата, madame, что у меня хорошие волосы, – ответила Мещерская и чуть тронула обеими руками свою красиво убранную голову.

– Ах, вот как, вы не виноваты! – сказала начальница. – Вы не виноваты в прическе, не виноваты в этих дорогих гребнях, что не виноваты, что разоряете своих родителей на туфельки в двадцать рублей! Но, повторяю вам, вы совершенно упускаете из виду, что вы пока только гимназистка...

И тут Мещерская, не теряя простоты и спокойствия, вдруг вежливо перебила ее:

– Простите, madame, вы ошибаетесь: я женщина. И виноват в этом – знаете кто? Друг и сосед папы, а ваш брат Алексей Михайлович Малютин. Это случилось прошлым летом в деревне...

А через месяц после этого разговора казачий офицер, некрасивый и плебейского вида, не имевший ровно ничего общего с тем кругом, к которому принадлежала Оля Мещерская, застрелил ее на платформе вокзала, среди большой толпы народа, только что прибывшей с поездом. И невероятное, ошеломившее начальницу признание Оли Мещерской совершенно подтвердилось: офицер заявил судебному следователю, что Мещерская завлекла его, была с ним близка, поклялась быть его женой, а на вокзале, в день убийства, провожая его в Новочеркасск, вдруг сказала ему, что она и не думала никогда любить его, что все эти разговоры о браке – одно ее издевательство над ним, и дала ему прочесть ту страничку дневника, где говорилось о Малютине.

– Я пробежал эти строки и тут же, на платформе, где она гуляла, поджидая. Пока я кончу читать, выстрелил в нее, – сказал офицер. – Дневник этот вот он, взгляните, что было написано в нем десятого июня прошлого года.

В дневнике было написано следующее:

“Сейчас второй час ночи. Я крепко заснула, но тотчас же проснулась... Нынче я стала женщиной! Папа, мама и Толя, все уехали в город, я осталась одна. Я была так счастлива, что одна! Я утром гуляла в саду, в поле, была в лесу, мне казалось, что я одна во

всем мире, и я думала так хорошо, как никогда в жизни. Я и обедала одна, потом целый час играла, под музыку у меня было такое чувство, что я буду жить без конца и буду так счастлива, как никто. Потом заснула у папы в кабинете, а в четыре часа меня разбудила Катя, сказала, что приехал Алексей Михайлович. Я ему очень обрадовалась, мне было так приятно принять его и занимать. Он приехал на паре своих вяток, очень красивых, и они все время стояли у крыльца, он остался. Потому что был дождь, и ему хотелось, чтобы к вечеру просохло. Он жалел, что не застал папу, был очень оживлен и держал себя со мной кавалером, много шутил, что он давно влюблен в меня. Когда мы гуляли перед чаем по саду, была опять прелестная погода, солнце блестело через весь мокрый сад, хотя стало совсем холодно, и он вел меня под руку и говорил, что он Фауст с Маргаритой. Ему пятьдесят шесть лет, но он еще очень красив и всегда хорошо одет – мне не нравилось только, что он приехал в крылатке, – пахнет английским одеколоном, и глаза совсем молодые, черные, а борода разделена на две длинные части и совершенно серебряная. За чаем мы сидели на стеклянной веранде, я почувствовала себя как будто нездоровой и прилегла на тахту, а он курил, потом пересел ко мне, стал опять говорить какие-то любезности, потом рассматривать и целовать мою руку. Я закрыла лицо шелковым платком, и он несколько раз поцеловал меня в губы через платок... Я не понимаю, как это могло случиться, я сошла с ума, я никогда не думала, что я такая! Теперь мне один выход... Я чувствую к нему такое отвращение, что не могу пережить этого!..”

Город за эти апрельские дни стал чист, сух, камни его побелели, и по ним легко и приятно идти. Каждое воскресенье, после обедни, по Соборной улице, ведущей к выезду из города, направляется маленькая женщина в трауре, в черных лайковых перчатках, с зонтиком из черного дерева. Она переходит по шоссе грязную площадь, где много закопченных кузниц и свежо дует полевой воздух; дальше, между мужским монастырем и острогом, белеет облачный склон неба и сереет весеннее поле, а потом, когда проберешься среди луж под стеной монастыря и повернешь налево, увидишь как бы большой низкий сад, обнесенный белой оградой, над воротами которой написано Успение Божией матери. Маленькая женщина мелко крестится и привычно идет по главной аллее. Дойдя до скамьи против дубового креста, она сидит на ветру и на весеннем холоде час, два, пока совсем не заябнут ее ноги в легких ботинках и рука в узкой лайке. Слушая весенних птиц, сладко поющих и в холод, слушая звон ветра в фарфоровом венке, она думает иногда, что отдала бы полжизни, лишь бы не было перед ее глазами этого мертвого венка. Этот веночек, этот бугор, дубовый крест! Возможно ли, что под ним та, чьи глаза так бессмертно сияют из этого выпуклого фарфорового медальона на кресте, и как совместить с этим чистым

взглядом то ужасное, что соединено теперь с именем Оли Мещерской? Но в глубине души маленькая женщина счастлива, как все преданные какой-нибудь страстной мечте люди.

Женщина эта – классная дама Оли Мещерской, немолодая девушка, давно живущая какой-нибудь выдумкой, заменяющей ей действительную жизнь. Сперва такой выдумкой был ее брат, бедный и ничем не замечательный прапорщик, – она соединила всю свою душу с ним, с его будущностью, которая почему-то представлялась ей блестящей. Когда его убили под Мукденом, она убеждала себя, что она – идейная труженица. Смерть Оли Мещерской пленила ее новой мечтой. Теперь Оля Мещерская – предмет ее неотступных дум и чувств. Она ходит на ее могилу каждый праздник, по часам не спускает глаз с дубового креста, вспоминает бледное личико Оли Мещерской в гробу, среди цветов – и то, что однажды подслушала: однажды, на большой перемене, гуляя по гимназическому саду, Оля Мещерская быстро, быстро говорила своей любимой подруге, полной, высокой Субботиной:

– Я в одной папиной книге – у него много старинных, смешных книг, – прочла, какая красота должна быть у женщины... Там, понимаешь, столько на сказано, что всего не упомнишь: ну, конечно, черные, кипящие смолой глаза – ей-богу, так и написано: кипящие смолой! – черные, как ночь, ресницы, нежно играющий румянец, тонкий стан, длинные обыкновенные руки – понимаешь, длиннее обыкновенного! – маленькая ножка, в меру большая грудь, правильно округленная икра, колена цвета раковины, покатые плечи – я многое почти наизусть выучила, так все это верно! – но главное, знаешь ли что? Легкое дыхание! А ведь оно у меня есть, – ты послушай, как я вздыхаю, – ведь правда, есть?

Теперь это легкое дыхание снова рассеялось в мире, в этом облачном небе, в этом холодном весеннем ветре.

1916

Теоретические положения

Художественное произведение всегда демонстрирует характер отношения автора к окружающей действительности, отражая в том числе и особый тип эмоциональности творца.

Г.Н. Пospelов определяет эту эмоциональность как пафос.

* _ *

Пафос образует подлинное средоточение, подлинное царство искусства; его воплощение является главным как в произведении искусства, так и в восприятии последнего зрителем. Ибо пафос затрагивает струну, находящую отклик в каждом человеческом сердце.

Г.В.Ф. Гегель

Лекции по эстетике

Пафос всегда есть страсть, выжигаемая в душе человека идеею и всегда стремящаяся к идее, следовательно, страсть чисто духовная, нравственная, небесная.

В.Г. Белинский. Статьи о Пушкине (статья пятая)

* _ *

Идейно-эмоциональная оценка изображаемых характеров, событий или явлений, порождаемая их объективным значением – пафос художественного произведения. Пафос пронизывает все произведения и сообщает ему единое дыхание. В пафосе мысль и чувства художника составляют единое целое, позволяя четко определить главную мысль произведения.

Содержание пафоса, пронизывающего конкретное произведение, определяется как миропониманием художника, так и объективными свойствами тех явлений жизни, характеров и обстоятельств, которые художник изображает. Это определяет субъектно-объектную природу пафоса.

Традиционно выделяют следующие виды пафоса: героический, трагический, драматический, пафос сентиментальности, романтический, комический. Переплетение различных пафосных интонаций – распространенная примета многих художественных произведений.

Для произведений с преобладанием трагического пафоса свойственно такое столкновение идеального и реального, при котором крушение идеала, как правило, носит необратимый характер и угрожает самой жизни.

Положительные персонажи в таких произведениях осознают невозможность изменить сложившийся порядок вещей, но, ощущая это, готовы пожертвовать собственной жизнью во имя утверждения ценности провозглашенных идеалов.

Важнейшее качество трагического характера – активность (не столько внешняя, сколько внутренняя), наличие глубокого страдания от ощущения собственного несовершенства, жертвенность (готовность претерпеть за великую цель). Мученичество трагиче-

ского героя освящено верой в конечную победу над Злом, которое выступает как рок, как неотвратимость.

* _ *

“Сущность трагедии заключается в действительной борьбе свободы в субъекте и необходимости объективного; эта борьба завершается не тем, что та или другая сторона оказываются побежденными, но тем, что обе одновременно представляются и победившими и побежденными – в совершенной неразличимости...”

... Только там, где необходимость предопределяет несчастье, она может проявиться действительно в борьбе со свободой. Вопрос заключается в том, каким должно быть это несчастье, чтоб соответствовать строю трагедии. Несчастье только внешнего характера не вызывает истинно трагического противоречия”.

Ф. Шеллинг. “Философия искусства”

“Одной из центральных идей трагедийного произведения всегда является идея расширения возможностей человека, разрыв тех границ, которые исторически создавались, но стали тесными и узкими для наиболее смелых и активных людей. Трагический герой взрывает устоявшиеся границы возможностей человека...”

Ю. Боров. Трагическое. СЛТ

* _ *

Произведения с героическим пафосом утверждают величие подвига отдельной личности или группы людей; ценность подвига как высшей формы поведения для каждого человека (“Иллиада” Гомера, “Бородино” М.Ю. Лермонтова, “Василий Теркин” А. Твардовского).

В произведениях с героическим пафосом положительные персонажи всегда убеждены в своей правоте, при этом – на что обращал внимание Гегель – “господствующим и определяющим остаются здесь живой почин индивида в принятии решений и их исполнении”.

Героический персонаж – это индивид, принимающий осмысленное решение, исходя из тех моральных ценностей, которые использует общество в целом. В то же время героическая личность, безусловно, выделяется из окружающих людей своей осознанной готовностью к тому деянию, которое окружающие называют подвигом.

* _ *

Героическая ... индивидуальность более идеальна, потому что она не удовлетворяется формальной свободой и бесконечностью внутри себя, а остается в постоянном непосредственном тождестве со всем субстанциальным содержанием духовных отношений,

которые она делает живой действительностью. Субстанциальное начало непосредственно в ней, индивид благодаря этому субстанциален в самом себе.

В.Ф. Гегель. Лекции по эстетике

* _ *

В произведениях с драматическим пафосом изображается действительность, в которой устремления личности или общественные интересы оказываются под угрозой гибели или поражения под воздействием независимых от них внешних сил. Для таких произведений свойствен резкий антагонизм, очевидное столкновение противостоящих друг другу принципов поведения персонажей, открытость глубоких внутренних противоречий личности. Напряженность повествования – существенный признак произведений, в которых господствует драматический пафос. Сочувствие герою или осуждение его – вот одна из особенностей такого рода произведений (“Анна Каренина” Л.Н. Толстого, “Сотников” В. Быкова).

В произведениях, пронизанных пафосом сентиментальности, на первый план выступает душевная умиленность, вызванная сознанием нравственных достоинств в характерах людей, социально униженных или связанных с определенной, вызывающей сочувствие средой (“Бедные люди” Ф. Достоевского, “Бедная Лиза” Н. Карамзина). Для таких произведений свойственно стремление художника увидеть высокое в низком, в них преобладает мотив культа чувства.

* _ *

Сентиментальная поэзия тем именно и отличается от наивной, что действительное состояние, далее которого наивная поэзия не идет, она сближает с идеями, а идеи применяет к действительности... Она всегда имеет дело с двумя вступающими в спор объектами – идеалом и опытом, между которыми возможно мыслить лишь три рода отношений. Душа может быть по преимуществу занята противоречием действительного противостояния идеалу, либо их согласованностью, либо, наконец, она может разделиться между ними.

Ф. Шиллер. “О наивной и сентиментальной поэзии”

* _ *

В произведениях с романтическим пафосом стремление к лучшему, возвышенному материализуется в изображении реального как идеального. В.Г. Белинский определял романтический пафос как “удовлетворение в идеалах, творимых фантазией”. Поэтому романтический пафос прежде всего опирается на субъективные переживания, а не на объективное постижение мира (“К Чаадаеву” А.С. Пушкина, “Дон Кихот” М. Сервантеса).

В произведениях такого рода господствует герой, устремленный к возвышенному, к постижению недостижимых горних высот духа, отрицающий реальность во имя прекрасного будущего, самоутверждения и т.п.

* _ *

В произведениях, пронизанных комическим пафосом, столкновение идеального и реального оборачивается посрамлением (осмеянием) реального, несмотря на его формальную победу над идеальным. Комическое как эстетическая категория существует в двух разновидностях – сатире и юморе, грань между которыми достаточно размыта. Общее между ними – осмеяние “испорченной действительности” (Гегель), т.е. реальности, скрывающей свою двойственность и претендующей на внешнюю значительность.

* _ *

Истинная область комического – человек, человеческое общество, человеческая жизнь, потому что в человеке только развивается стремление быть не тем, чем он может быть, развиваются неуместные, безуспешные, нелепые претензии”.

Н.Г. Чернышевский

* _ *

Комический пафос – это утверждение через отрицание. Юмористическое осмеяние опирается на снисхождение к человеческим слабостям и недостаткам, на уверенность в их преодолении. Сатирическое осмеяние обнажает внутреннюю – глубинную – несостоятельность изображаемого объекта и потому строится на бескомпромиссном неприятии осмеиваемого характера или явления.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ V
Сюжет и фабула в художественном произведении
(М. Зощенко “Нервные люди”)

1. Понятие о сюжете и фабуле.
2. Специфика комического сюжета и фабулы.

Л и т е р а т у р а

1. Добин Е. Герой. Сюжет. Деталь. – Л., 1962. – С.207-284
2. Коган М.С. Лекции по марксистско-ленинской эстетике. – М., 1971
3. Кожин В.В. Сюжет, фабула, композиция. В кн.: Теория литературы. Основные проблемы в историческом освещении. Роды и жанры литературы. – М., 1964
4. Мущенко Е.Г., Скобелев В.П., Кройчик Л.Е. Поэтика сказа. Гл.седьмая.
5. Сапаров М.А. Размышления о структуре художественного произведения. В кн.: Структура литературного произведения. – Л., 1971

НЕРВНЫЕ ЛЮДИ

Недавно в нашей коммунальной квартире драка произошла. И не то что драка, а целый бой. На углу Глазовой и Боровой.

Дрались, конечно, от чистого сердца. Инвалиду Гаврилову последнюю башку чуть не оттяпали.

Главная причина – народ очень уж нервный. Расстраивается по мелким пустякам. Горячится. И через это дерется грубо, как в тумане.

Оно, конечно, после гражданской войны нервы, говорят, у народа завсегда расшатываются. Может, оно и так, а только у инвалида Гаврилова от этой идеологии башка поскорее не зарастет.

А приходит, например, одна жиличка, Марья Васильевна Щипцова, в девять часов вечера на кухню и разжигает примус. Она всегда, знаете, об это время разжигает примус. Чай пьет и компрессы ставит.

Так приходит она на кухню. Ставит примус перед собой и разжигает. А он, провались совсем, не разжигается. Она думает: “С чего бы он, дьявол, не разжигается? Не закоптел ли, провались совсем!”

И берет она в левую руку ежик и хочет чистить.

Хочет она чистить, берет в левую руку, а другая жиличка, Дарья Петровна Кобылина, чей ежик, посмотрела, чего взято, и отвечает:

– Ежик-то, уважаемая Марья Васильевна, промежду прочим, назад положите.

Щипцова, конечно, вспыхнула от этих слов и отвечает:

– Пожалуйста, отвечает, подавитесь, Дарья Петровна, своим ежиком. Мне, говорит, до вашего ежика дотронуться противно, не то что его в руки взять.

Тут, конечно, вспыхнула от этих слов Дарья Петровна Кобылина. Стали они между собой разговаривать. Шум у них поднялся, грохот, треск.

Муж, Иван Степанович Кобылин, чей ежик, на шум является. Здоровый такой мужчина, пузатый даже, но, в свою очередь, нервный.

Так является этот Иван Степанович и говорит:

– Я, говорит, ну, ровно слон работаю за тридцать два рубля с копейками в кооперации, улыбаюсь, говорит, на трудовые гроши ежики себе покупаю, и нипочем то есть не разрешу постороннему чужому персоналу этими ежиками воспользоваться.

Тут снова шум и дискуссия поднялась вокруг ежика. Все жильцы, конечно, поднаперли в кухню. Хлопочут. Инвалид Гаврилыч тоже является.

– Что, говорит, за шум, а драки нету?

Тут сразу после этих слов и подтвердилась драка. Началось.

А кухонька, знаете, узкая. Драться неспособно. Тесно. Кругом кастрюли и примуса. Повернуться негде. А тут двенадцать человек вперлось. Хочешь, например, одного по хारे смазать – троих кроешь. И, конечное дело, на все натыкаешься, падаешь. Не то что, знаете, безногому инвалиду – с тремя ногами устоять на полу нет никакой возможности.

А инвалид, чертова перечница, несмотря на это, в самую гощу вперся. Иван Степаныч, чей ежик, кричит, кричит ему:

– Уходи, Гаврилыч, от греха. Гляди, последнюю ногу оборвут.

Гаврилыч говорит:

– Пущай, говорит, нога пропадает! А только, говорит, не могу я теперича уйти. Мне, говорит, сейчас всю амбицию в кровь разбили.

А ему, действительно, в эту минуту кто-то по морде съездил. Ну и не уходит, накидывается. Тут в это время кто-то и ударяет инвалида кастрюлькой по кумполу.

Инвалид – брык на пол и лежит. Скучает.

Тут какой-то паразит за милицией кинулся.

Является мильтон. Кричит:

– Запасайтесь, дьяволы, гробами, сейчас стрелять буду!

Только после этих роковых слов народ маленько очухался. Бросился по своим комнатам.

“Вот те, думаю, клюква, с чего же это мы, уважаемые граждане, разодрались?”

Бросился народ по своим комнатам, один только инвалид Гаврилыч не бросился. Лежит, знаете, на полу, скучный. И из башки кровь каплет.

Через две недели после этого факта суд состоялся.

А нарсудья тоже нервный такой мужчина попался прописал ижицу.

1925

Теоретические положения

Предметная основа мира художественного произведения – события, процессы и характеры, существующие в системе пространственно-временных взаимоотношений. Организующим началом этих отношений выступают фабула и сюжет.

* _ *

Фабула – это хронологически и логически детерминированная последовательность событий, лежащих в основе повествования. Точка зрения на фабульном уровне произведения принадлежит не автору, не персонажам, а человеку, излагающему фабулу. Таким образом, как пересказ событий фабула – явление внетекстовое; но никаких других событий, кроме тех, о которых говорится в тексте художественного произведения, в этом пересказе быть не может. Благодаря фабуле совершается движение от жизненной реальности к реальности художественной.

Сюжет – способ реализации авторского замысла в тексте произведения. Он организует жизненный материал в художественном произведении на событийном, смысловом и

структурном уровнях, используя систему приемов, определенную последовательность действий. Сюжет всегда равен тексту, он – “все”.

Принципиальное отличие фабулы от сюжета заключается в том, что фабульный ряд организован не по законам искусства, а логикой самой жизни, ставшей предметом исследования художника. Сюжетный ряд определяется движением авторской мысли от замысла к идее произведения.

В реальной жизни событие или совокупность событий в своем развитии проходит определенные стадии, которые в фабуле выступают как ее элементы: завязка, развитие действия, кульминация, развязка. На сюжетном уровне этот порядок чаще всего нарушается.

* _ *

Говоря о сюжете, следует иметь в виду, что на уровне системы образов и персонажей в художественном произведении возможен и гиперсюжет – надфабульный сюжет, уточняющий мысль художника.

* _ *

Совокупность событий в их взаимной внутренней связи назовем фабулой. Художественно построенное распределение событий в произведении именуется сюжетом произведения.

Б. Томашевский. Теория литературы. Поэтика. – М., 1996. – С.180

* _ *

Фабула – это статическая цепь отношений, связей, вещей, отвлеченная от словесной динамики произведения. Сюжет – это те же связи и отношения в словесной динамике.

Ю.Н. Тынянов. Поэтика. История литературы. Кино. – М., 1977. – С.317

* _ *

Сюжет – живая последовательность всех многочисленных и многообразных действий, изображенных в произведении.

В. Кожин. Сюжет, фабула, композиция. Теория литературы.
– М., 1964. – С.433

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ VI
Композиция художественного произведения
(И. Бабель “Соль”)

1. Понятие о композиции художественного произведения.
2. Композиция сюжета рассказа И. Бабеля “Соль”
3. Компоненты композиции рассказа “Соль”.

Л и т е р а т у р а

1. Белая Г. Трагедия Исаака Бабеля. В кн. И. Бабель. Соч. в 2-х т.т. – М., 1990
2. Бузник В. Русская современная проза двадцатых годов. – Л., 1975. – С. 119-124
3. Кожин В. Сюжет, фабула, композиция. В кн.: Теория литературы. Основные проблемы в историческом освещении литературы. – М., 1964. – Т.2
4. Левин Ф., Бабель И. Очерк творчества. – М., 1972
5. Муценко Е.Г., Скобелев В.П., Кройчик Л.Е. Поэтика сказа. – С.215-217

СОЛЬ

“Дорогой товарищ редактор. Хочу описать вам за несознательность женщин, которые нам вредные. Надеются на вас, что вы, объезжая гражданские фронты, которые брали на заметку, не миновали закоренелую станцию Фастов, находящуюся за тридевять земель, в некотором государстве, на неведомом пространстве, я там, конечно, был, самогон-пиво пил, усы обмочил, в рот не заскочило. Про эту вышеизложенную станцию есть много кой-чего писать, но, как говорится в нашем простом быту, – господнего дерьма не перетаскать. Поэтому опишу вам только за то, что мои глаза собственноручно видели.

Была тихая, славная ночка семь ден тому назад, когда наш заслуженный поезд Конармии остановился там, груженный бойцами. Все мы горели способствовать общему делу и имели направление на Бердичев. Но только замечаем, что поезд наш никак не отваливает, Гаврилка наш не курит, в чем тут остановка? И действительно, остановка для общего дела вышла громадная по случаю того, что мешочники, эти злые враги, среди которых находились также несметная сила женского полу, нахальным образом поступали с железнодорожной властью. Безбоязненно они ухватились за поручни, эти злые враги, на

рысях пробегали по железным крышам, коловоротили, мутил, и в каждой руке фигурировала небезызвестная соль, доходя до пяти пудов в мешке. Но недолго длилось торжество капитала мешочников. Инициатива бойцов, повылазивших из вагона, дала поруганной власти железнодорожников вздохнуть грудью. Один только женский пол со своими торбами остался в окрестностях. Имея сожаление, бойцы которых женщин посадили по теплушкам, а которых не посадили. Так же и в нашем вагоне второго взвода оказались налицо две девицы, а пробивши первый звонок, подходит к нам представительная женщина с дитем, говоря:

– Пустите меня, любезные казачки, всю войну я страдаю по вокзалам с грудным дитем на руках и теперь хочу иметь свидание с мужем, но по причине железной дороги ехать никак не возможно, неужели я у вас, казачки, не заслужила?

– Между прочим, женщина, – говорю я ей, – какое будет согласие у взвода, такая получится ваша судьба. – И, обратившись к взводу, я им доказываю, что представительная женщина просится ехать к мужу на место назначения и дите действительно при ней находится и какое будет ваше согласие – пускать ее или нет?

– Пускай ее, – кричат ребята, – опосле нас она и мужа не захочет...

– Нет, – говорю я ребятам довольно вежливо, – кланяюсь вам, взвод, но только удивляет меня слышать от вас жеребятину. Вспомните, взвод, вашу жизнь и как вы сами были детьми при ваших матерях, и получается вроде того, что не годится так говорить...

И казаки, проговоривши между собой, какой он, стало быть, Балмашев, убедительный, начали пускать женщину в вагон, и она с благодарностью лезет. И каждый, раскипавшись моей правдой, подсаживает ее, говоря наперебой:

– Садитесь, женщина, в куток, ласкайте ваше дите, как водится с матерями, никто вас в кутке не тронет, и приедете вы, нетронутая, к вашему мужу, как это вам желательно, и надеемся на вашу совесть, что вы вырастите нам смену, потому что старое стирается, а молодняка, видать, мало. Горя мы видели, женщина, и на действительной и на сверхсрочной, голодом нас давнуло, холодом обожгло. А вы сидите здесь, женщина, без сомнения...

И, пробивши третий звонок, поезд двинулся. И славная ночка раскинулась шатром. И в том шатре были звезды-каганцы. И бойцы вспоминали кубанскую ночь и зеленую кубанскую звезду. И думка пролетела, как птица. А колеса тархтят...

По происшествии времени, когда ночь сменилась со своего поста и красные барабанички заиграли зорю на своих красных барабанах, тогда подступили ко мне казаки, видя, что я сижу без сна и скучаю до последнего.

– Балмашев, – говорят мне казаки, – отчего ты ужасно скучный и сидишь без сна?

– Низко кланяюсь вам, бойцы. И прошу маленького прощения, но только разрешите переговорить с этой гражданкой пару слов...

И, задрожав всем корпусом, я поднимаюсь со своей лежанки, от которой сон бежал, как волк от своры злодейских псов, и подхожу до нее, и беру у нее с рук дите, и рву с него пеленки, и вижу по-за пеленками добрый пудовик соли.

– Вот антиресное дите, товарищи, которые титек не просит, на подол не мочится и людей со сна не беспокоит.

– Простите, любезные казачки, – встревает женщина в наш разговор очень хладнокровно, – не я обманула, лихо мое обмануло...

– Балмашев простит твоему лиху, отвечаю я женщине, – Балмашеву оно немного стоит, Балмашев за что купил, за то и продает. Но оборотись к казакам, женщина, которые тебя возвысили как трудящуюся мать в республике. Оборотись на этих двух девиц, которые плачут в настоящее время, как пострадавшие этой ночью. Оборотись на жен наших на пшеничной Кубани, которые исходят женской силой мужей, и те, то же самое одинокие, по злой неволе насильничают проходящих в их жизни девушек... А тебя не трогали, хотя тебя, неподобную, только трогать. Оборотись на Расею, задавленную болью...

А она мне:

– Я соли своей решила, я правды не боюсь. Вы за Расею не думаете, вы жидов спасаете...

– За жидов сейчас разговора нет, вредная гражданка. Жиды сюда не касаются. А вы, гнусная гражданка, есть более контрреволюционерка, чем тот белый генерал, который с вострой шашкой грозится нам на своем тысячном коне... Его видать, того генерала, со всех дорог, и трудящиеся имеет свою думку-мечту его порезать, а вас, несчетная гражданка, с вашими антиресными детками, которые хлеба не просят и до ветра не бегают, – вас не видать, как блоху, и вы точите, точите, точите...

И я действительно признаю, что выбросил эту гражданку на ходу по откос, но она, как очень грубая, посидела, махнула юбками и пошла своей подлой дорожкой. И, увидев эту невредимую женщину, и несказанную Расею вокруг нее, и крестьянские поля без колоса, и поруганных девиц, и товарищей, которые много ездят на фронт, но мало возвращаются, я захотел спрыгнуть с вагона и себе кончить или ее кончить. Но казаки имели ко мне сожаление и сказали:

– Ударь ее из винта.

И, сняв со стенки верного винта, я смыл этот позор с лица трудовой земли и республики.

И мы, бойцы второго взвода, клянемся перед вами, дорогой товарищ редактор, и перед вами, дорогие товарищи из редакции, беспощадно поступать со всеми изменниками, которые тащат нас в яму и хотят повернуть речку обратно и выстелить Расею трупами и мертвой травой.

За всех бойцов второго взвода – Никита Балмашев, солдат революции”.

Композиция художественного произведения

Композиция – способ организации элементов произведения, совокупность которых создает мир созданной вещи. Составляя основу структуры произведения искусства, композиция определяет в значительной степени разработку конфликта, расстановку действующих лиц, характер повествования и соотнесение отдельных частей текста (архитектоника вещи).

Композиция стимулирует целостность восприятия вещи, управляя реакцией читателя, подчиняя его творческой воле автора, являясь, по словам П. Палиевского, дисциплинирующей силой и организатором произведения.

Основная задача композиции – упорядочить изображение виртуального мира. Эта упорядоченность достигается с помощью ряда композиционных приемов – повторов и вариаций (анафор, эпифор, рефренов), мотивов, деталей и подробностей, фигур умолчания и пробелов, приемов монтажа.

Композиция дает представление о вещи во всей ее полноте, в целостном единстве формы и содержания произведения, помогает понять авторский замысел, обозначая способ организации материала в тексте, выявляя отношение между элементами формы, т.е. работает на раскрытие сюжета. Композиция использует все элементы произведения в качестве строительного материала, т.е. работает на создание сюжета. Таким образом, композиция выполняет две функции – конструктивную и содержательную, определяя роль приема в системе художественных средств и выявляя его смысловую значимость.

* _ *

Заражение читателя мыслями и чувствами художника является главной мыслью произведения.

Задача эта достигается тогда и в той мере, в какой художник находит те бесконечно малые моменты, из которых складывается произведение искусства.

Л. Толстой

* _ *

Композиционно-сюжетное единство художественного произведения обеспечивается развитием действия, расположением и соотношением составляющих текст частей.

Внешняя и внутренняя динамика развития сюжета зависит от изменения положения героев и их состояний. Внешняя динамика основана на перипетиях, т.е. внезапных столкновениях и переменах судеб персонажей, внутренняя – на коллизиях, т.е. на столкновении идей и проблем.

Теория литературы исследует три варианта композиции художественных произведений: хроникальную, где преобладают последовательные связи; концентрическую, где преобладают причинно-следственные связи; многолинейную, где используются комбинации различных фабульных линий.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ VII

Своеобразие выражения авторской позиции в художественном произведении

1. Автор как творец художественного произведения.
2. Особенности повествования в художественном произведении.
3. Специфика повествования в “Повестях Белкина” на примере повести “Выстрел”.

Л и т е р а т у р а

1. Введение в литературоведение. – М., 1983. – С.141-146
2. Корман Б.О. Изучение текста художественного произведения. – М., 1972.
3. Лотман Ю.М. А.С.Пушкин. – Л., 1981. – С.183-192

Выстрел

*Стрелялась мы*¹.*

Баратынский

Я поклялся застрелить его по праву, дуэли

(за ним остался еще мой выстрел).

“Вечер на бивуаке”

Мы стояли в местечке ***. Жизнь армейского офицера известна. Утром ученье, манеж, обед у толкового командира или в жидовском трактире; вечером пунш и карты. В,*** не было ни одного открытого дома, ни одной невесты; мы собирались друг у друга, где, кроме своих мундиров, не видали ничего.

Один только человек принадлежал нашему обществу, не будучи военным. Ему было около тридцати пяти лет, и мы за то почитали его стариком. Опытность давала ему перед нами многие преимущества; к тому же его обыкновенная угрюмость, крутой нрав и злой язык имели сильное влияние на молодые наши умы. Какая-то таинственность окружала его судьбу; он казался русским, а носил иностранное имя. Некогда он служил в гусарах, и даже счастливо; никто не знал причины, побудившей его выйти в отставку и поселиться в бедном местечке, где жил он вместе и бедно и расточительно: ходил вечно пешком, в изношенном черном сертуке, а держал открытый стол для всех офицеров нашего полка. Правда, обед его состоял из двух или трех блюд, изготовленных отставным солдатом, но шампанское лилось притом рекою. Никто не знал ни его состояния, ни его доходов, и никто не осмеливался о том его спрашивать. У него водились книги, большею частью военные, да романы. Он охотно давал их читать, никогда не требуя их назад; зато никогда не возвращал хозяину книги, им занятой. Главное упражнение его состояло в стрельбе из пистолета. Стены его комнаты были все источены пулями, все в скважинах, как соты пчелиные. Богатое собрание пистолетов было единственной роскошью бедной мазанки, где он жил. Искусство, до коего достиг он, было неимоверно, и если б он вызвался пулей сбить грушу с фуражки кого б то ни было, никто б в нашем полку не усумнился подставить ему своей головы. Разговор между нами касался часто поединков; Сильвио (так назову его) никогда в него не вмешивался. На вопрос, случалось ли ему драться, отвечал он сухо, что случалось, но в подробности не входил, и видно было, что таковые вопросы были ему неприятны. Мы полагали, что на совести его лежала какая-нибудь несчастная жертва его ужасного искусства. Впрочем, нам и в голову не приходило подозревать в нем что-нибудь похожее на робость. Есть люди, коих одна наружность удаляет таковые подозрения. Нечаянный случай всех нас изумил.

Однажды человек десять наших офицеров обедали у Сильвио. Пили по-обыкновенному, то есть очень много; после обеда стали мы уговаривать хозяина прометать нам банк. Долго он отказывался, ибо никогда почти не играл; наконец велел подать карты, высыпал на стол полсотни червонцев и сел метать*. Мы окружили его, и игра завязалась. Сильвио имел обыкновение за игрою хранить совершенное молчание, никогда не спорил и не объяснялся. Если понтёру* случалось обсчитаться, то он тотчас или доплачивал достальное, или записывал лишнее. Мы уж это знали и не мешали ему хозяйничать по-своему; но между нами находился офицер, недавно к нам переведенный. Он, играя тут же, в рассеянности загнул лишний угол*. Сильвио взял мел и уравнил счет по своему обыкновению. Офицер, думая, что он ошибся, пустился в объяснения. Сильвио молча

продолжал метать. Офицер, потеряв терпение, взял щетку и стер то, что казалось ему напрасно записанным. Сильвио взял мел и записал снова. Офицер, разгоряченный вином, игрою и смехом товарищей, почел себя жестоко обиженным и, в бешенстве схватив со стола медный шандал*, пустил его в Сильвио, который едва успел отклониться от удара. Мы смутились. Сильвио встал, побледнев от злости, и с сверкающими глазами сказал: “Милостивый государь, извольте выдти и благодарите бога, что это случилось у меня в доме”.

Мы не сомневались в последствиях и полагали нового товарища уже убитым, Офицер вышел вон, сказав, что за обиду готов отвечать, как будет угодно господину банкомету*. Игра продолжалась еще несколько минут; но, чувствуя, что хозяину было не до игры, мы отстали один за другим и разбрелись по квартирам, толкуя о скорой вакансии*.

На другой день в манеже мы спрашивали уже, жив ли еще бедный поручик, как сам он явился между нами; мы сделали ему тот же вопрос. Он отвечал, что об Сильвио не имел он еще никакого известия. Это нас удивило. Мы пошли к Сильвио и нашли его на дворе, сажающего пулю на пулю в туза, приклеенного к воротам. Он принял нас по-обыкновенному, ни слова не говоря о вчерашнем происшествии. Прошло три дня, поручик был еще жив. Мы с удивлением спрашивали: неужели Сильвио не будет драться? Сильвио не дрался. Он довольствовался очень легким объяснением и помирился.

Это было чрезвычайно повредило ему во мнении молодежи. Недостаток смелости менее всего извиняется молодыми людьми, которые в храбрости обыкновенно видят верх человеческих достоинств и извинение всевозможных пороков. Однако ж мало-помалу все было забыто, и Сильвио снова приобрел прежнее свое влияние.

Один я не мог уже к нему приблизиться. Имея от природы романтическое воображение*, я всех сильнее прежде сего был привязан к человеку, коего жизнь была загадкою и который казался мне героем таинственной какой-то повести. Он любил меня; по крайней мере со мной одним оставлял обыкновенное свое резкое злоречие и говорил о разных предметах с простодушием и необыкновенною приятностию. Но после несчастного вечера мысль, что честь его была замарана и не омыта по его собственной вине, эта мысль меня не покидала и мешала мне обходиться с ним по-прежнему; мне было совестно на него глядеть. Сильвио был слишком умен и опытен, чтобы этого не заметить и не угадывать тому причины. Казалось, это огорчало его; по крайней мере я заметил раза два в нем желание со мною объясниться; но я избегал таких случаев, и Сильвио от меня отступился. С тех пор видался я с ним только при товарищах, и прежние откровенные разговоры наши прекратились.

Рассеянные жители столицы не имеют понятия о многих впечатлениях, столь известных жителям деревень или городков, например, об ожидании почтового дня: во вторник и пятницу полковая наша канцелярия бывала полна офицерами; кто ждал денег, кто письма, кто газет. Пакеты обыкновенно тут же распечатывались, новости сообщались, и канцелярия представляла картину самую оживленную. Сильвио получал письма, адресованные в наш полк, и обыкновенно тут же находился. Однажды подали ему пакет, с которого он сорвал печать с видом величайшего нетерпения. Пробегая письмо, глаза его сверкали. Офицеры, каждый занятый своими письмами, ничего не заметили. “Господа, — сказал им Сильвио, — обстоятельства требуют немедленного моего отсутствия; еду сегодня в ночь; надеюсь, что вы не откажетесь отобедать у меня в последний раз. Я жду и вас, — продолжал он, обратившись ко мне,—жду непременно”. С сим словом он поспешно вышел; а мы, согласясь соединиться у Сильвио, разошлись каждый в свою сторону.

Я пришел к Сильвио в назначенное время и нашел у него почти весь полк. Все его добро было уже уложено; оставались одни голые, • простреленные стены. Мы сели за стол; хозяин был чрезвычайно в духе, и скоро веселость его соделалась общею; пробки хлопали поминутно, стаканы пенились и шипели беспрестанно, и мы со всевозможным усердием желали отъезжающему доброго пути и всякого блага. Встали из-за стола уже поздно вечером. При разборе фуражек Сильвио, со всеми прощаясь, взял меня за руку и остановил в ту самую минуту, как собирался я выйти. “Мне нужно с вами поговорить”, — сказал он тихо. Я остался.

Гости ушли; мы остались вдвоем, сели друг противу друга, и молча закурили трубки. Сильвио был озабочен; не было уже и следов его судорожной веселости. Мрачная бледность, сверкающие глаза и густой дым, выходящий изо рту, придавали ему вид настоящего дьявола. Прошло несколько минут, и Сильвио прервал молчание. “Может быть, мы никогда больше не увидимся,— сказал он мне; — перед разлукой я хотел с вами объясниться. Вы могли заметить; что я мало уважаю постороннее мнение; но я вас люблю и чувствую: мне было бы тягостно оставить в .вашем уме несправедливое впечатление”.

Он остановился и стал набивать выгоревшую свою трубку; я молчал, потупя глаза.

“Вам было странно, — продолжал он,— что я не требовал удовлетворения от этого пьяного сумасброда Р***. Вы согласитесь, что, имея право выбрать оружие, жизнь его была в моих руках, а моя почти безопасна: я мог бы приписать умеренность мою одному великодушью, но не хочу лгать. Если б я мог наказать Р***, не подвергая вовсе моей , жизни, то я б ни за что не простил его”.

Я смотрел на Сильвио с изумлением. Таковое признание совершенно смутило меня. Сильвио продолжал:

“Так точно: я не имею права подвергать себя смерти. Шесть лет тому назад я получил пощечину, и враг мой еще жив”.

Любопытство мое сильно было возбуждено. “Вы с ним не дрались? — спросил я.— Обстоятельства, верно, вас разлучили?”

“Я с ним дрался, — отвечал Сильвио, — и вот памятник нашего поединка”.

Сильвио встал и вынул из картона красную шапку с золотой кистью с галуном (то, что французы называют *bonnet de police*); он ее надел; она была прострелена на вершок ото лба.

“Вы знаете, — продолжал Сильвио,— что я служил в*** гусарском полку. Характер мой вам известен: я привык первенствовать, но смолоду это было во мне страстию. В наше время буйство было в моде: я был первым буяном по армии. Мы хвастались пьянством: я перепил славного Бурцева, воспетого Денисом Давыдовым. Дуэли в нашем полку случались поминутно: я на всех бывал или свидетелем, или действующим лицом. Товарищи меня обожали, а полковые командиры, поминутно сменяемые, смотрели на меня, как на необходимое зло.

Я спокойно (или беспокойно) наслаждался моею славою, как определился к нам молодой человек богатой и знатной фамилии (не хочу назвать его). Отроду не встречал счастливца столь блистательного! Вообразите себе молодость, ум, красоту, веселость самую бешеную, храбрость самую беспечную, громкое имя, деньги, которым не знал он счета и которые никогда у него не переводились, и представьте себе, какое действие должен был он произвести между нами. Первенство мое поколебалось. Обольщенный моею славою, он стал было искать моего дружества; но я принял его холодно, и он безо всякого сожаления от меня удалился. Я его возненавидел. Успехи его в полку и в обществе женщин приводили меня в совершенное отчаяние. Я стал искать с ним ссоры; на эпиграммы мои отвечал он эпиграммами, которые всегда казались мне неожиданнее и острее моих и которые, конечно, не в пример были веселее: он шутил, а я злобствовал. Наконец однажды на бале у польского помещика, видя его предметом внимания всех дам, и особенно самой хозяйки, бывшей со мною в связи, я сказал ему на ухо какую-то плоскую грубость. Он вспыхнул и дал мне пощечину. Мы, бросились к саблям; дамы попадали в обморок; нас растащили, и в ту же ночь поехали мы драться.

Это было на рассвете. Я стоял на назначенном месте с моими тремя секундантами. С неизъяснимым нетерпением ожидал я моего противника. Весеннее солнце взошло, и

жар уже напевал. Я увидел его издали. Он шел пешком, с мундиром на сабле, сопровождаемый, одним секундантом. Мы пошли к нему навстречу. Он приблизился, держа фуражку, наполненную черешнями. Секунданты отмерили нам двенадцать шагов. Мне должно было стрелять первому: но волнение злобы во мне было столь сильно, что я не понадеялся на верность руки и, чтобы дать себе время остыть, уступал ему первый выстрел; противник мой не соглашался. Положили бросить жребий: первый номер достался ему, вечному любимцу счастья. Он прицелился и прострелил мне фуражку. Очередь была за мною. Жизнь его наконец была в моих руках; я глядел на него, жадно, стараясь уловить хотя одну тень беспокойства... Он стоял под пистолетом, выбирая из фуражки спелые черешни и выплевывая косточки, которые долетали до меня. Его равнодушие взбесило меня. Что пользы мне, подумал я, лишиться его жизни, когда он ею вовсе не дорожит? Злобная мысль мелькнула в уме моем. Я опустил пистолет. “Вам, кажется, теперь не до смерти,— сказал я ему,— вы изволите завтракать; мне не хочется вам помешать”. — “Вы ничуть не мешаете мне, — возразил он, — извольте себе стрелять, а впрочем, как вам угодно: выстрел ваш остается за вами; я всегда готов к вашим услугам”. Я обратился к секундантам, объявив, что нынче стрелять не намерен, и поединок тем и кончился.

Я вышел в отставку и удалился в это местечко. С тех пор не прошло ни одного дня, чтоб я не думал о мщении. Нынче час мой настал...”

Сильвио вынул из кармана утром полученное письмо и дал мне его читать. Кто-то (казалось, его поверенный по делам) писал ему из Москвы, что *известная особа* скоро должна вступить в законный брак с молодой и прекрасной девушкой.

“Вы догадываетесь, — сказал Сильвио, — кто эта *известная особа*. Еду в Москву. Посмотрим, так ли равнодушно примет он смерть перед своей свадьбой, как некогда ждал ее за черешнями!”

При сих словах Сильвио встал, бросил об пол свою фуражку и стал ходить взад и вперед по комнате, как тигр по своей клетке. Я слушал его неподвижно; странные, противоположные чувства волновали меня.

Слуга вошел и объявил, что лошади готовы. Сильвио крепко сжал мне руку; мы поцеловались. Он сел в тележку, где лежали два чемодана, один с пистолетами, другой с его пожитками. Мы простились еще раз, и лошади поскакали.

II

Прошло несколько лет, и домашние обстоятельства принудили меня поселиться в бедной деревеньке Н* уезда. Занимаясь хозяйством, я не переставал тихонько вздыхать о прежней моей шумной и беззаботной жизни. Всего труднее было мне привыкнуть про-

водить осенние и зимние вечера в совершенном уединении. До обеда кое-как еще дотягивал я время, толкуя со старостой, разъезжая по работам или обходя новые заведения; но как скоро начинало смеркаться, я совершенно не знал куда деваться. Малое число книг, найденных мною под шкафами и в кладовой, были вытвержены мною наизусть. Все сказки, которые только могла запомнить ключница Кириловна, были мне пересказаны; песни баб, наводили на меня тоску. Принялся я было за неподслащенную наливку, но от нее болела у меня голова; да признаюсь, побоялся я сделаться *пьяницею с горя*, то есть самым *горьким* пьяницею, чему примеров множество видел я в нашем уезде. Близких соседей около меня не было, кроме двух или трех *горьких*, коих беседа состояла большею частию в икоте и воздыханиях. Уединение было сноснее.

В четырех верстах от меня находилось богатое поместье, принадлежащее графине Б***; но в нем жил только управитель, а графиня посетила свое поместье только однажды, в первый год своего замужества, и то прожила там не более месяца. Однако ж во вторую весну моего затворничества разнесся слух, что графиня с мужем приедет на лето в свою деревню. В самом деле, они прибыли в начале июня месяца.

Приезд богатого соседа есть важная эпоха для деревенских жителей. Помещики и их дворовые люди толкуют о том месяца два прежде и года три спустя. Что касается до меня, то, признаюсь, известие о прибытии молодой и прекрасной соседки сильно на меня подействовало; я горел нетерпением ее увидеть, и потому в первое воскресенье по ее приезде отправился после обеда в село*** рекомендовать их сиятельствам, как ближайший сосед и всепокорнейший слуга.

Лакей ввел меня в графский кабинет, а сам пошел обо мне доложить. Обширный кабинет был убран со всевозможною роскошью; около стен стояли шкафы с книгами, и над каждым бронзовый бюст; над мраморным камином было широкое зеркало; пол обит был зеленым сукном и устлан коврами. Отвыкнув от роскоши в бедном углу моем и уже давно не видав чужого богатства, я оробел и ждал графа с каким-то трепетом, как проситель из провинции ждет выхода министра. Двери отворились, и вошел мужчина лет тридцати двух, прекрасный собою. Граф приблизился ко мне с видом открытым и дружелюбным; я старался ободриться и начал было себя рекомендовать, но он предупредил меня. Мы сели. Разговор его, свободный и любезный, вскоре рассеял мою одичалую застенчивость; я уже начинал входить в обыкновенное мое положение, как вдруг вошла графиня, и смущение овладело мною пуще прежнего. В самом деле, она была красавица. Граф представил меня; я хотел казаться развязным, но чем больше старался взять на себя вид непринужденности, тем более чувствовал себя неловким. Они, чтоб дать мне время опра-

виться и привыкнуть к новому знакомству, стали говорить между собою, обходясь со мною как с добрым соседом и без церемонии. Между тем я стал ходить взад и вперед, осматривая книги и картины. В картинах я не знаток, но одна привлекла мое внимание. Она изображала какой-то вид из Швейцарии; но поразила меня в ней не живопись, а то, что картина была прострелена двумя пулями, всажеными одна на другую. “Вот хороший выстрел”,— сказал я, обращаясь к графу. “Да,— отвечал он,— выстрел очень замечательный. А хорошо вы стреляете?” — продолжал он. “Изрядно,— отвечал я, обрадовавшись, что разговор коснулся наконец предмета, мне близкого. — В тридцати шагах промаху в карту не дам, разумеется из знакомых пистолетов”. — “Право? — сказала графиня, с видом большой внимательности; — а ты, мой друг, попадешь ли в карту на тридцати шагах?” — “Когда-нибудь, — отвечал граф, — мы попробуем. В свое время я стрелял не худо; но вот уже четыре года, как я не брал в руки пистолета”. — “О, — заметил я, — в таком случае, бьюсь об заклад, что ваше сиятельство не попадете в карту и в двадцати шагах: пистолет требует ежедневного упражнения. Это я знаю на опыте. У нас в полку я считался одним из лучших стрелков. Однажды случилось мне целый месяц не брать пистолета: мои были в починке; что же бы вы думали, ваше сиятельство? В первый раз, как стал потом стрелять, я дал сряду четыре промаха по бутылке в двадцати пяти шагах. У нас был ротмистр, остряк, забавник; он тут случился и сказал мне: знать, у тебя, брат, рука не подымается на бутылку. Нет, ваше сиятельство, не должно пренебрегать этим упражнением, не то отвыкнешь как раз. Лучший стрелок, которого удалось мне встречать, стрелял каждый день, по крайней мере три раза перед обедом. Это у него было заведено, как рюмка водки”. Граф и графиня рады были, что я разговорился. “А каково стрелял он?” — спросил меня граф. “Да вот как, ваше сиятельство: бывало, увидит он, села на стену муха: вы смеетесь, графиня? Ей-богу, правда. Бывало, увидит муху и кричит: Кузька, пистолет! Кузька и несет ему заряженный пистолет. Он хлоп, и вдавливает муху в стену!” — “Это удивительно!— сказал граф; — а как его звали?” — “Сильвио, ваше сиятельство”. — “Сильвио! — вскричал граф, вскочив со своего места; — вы знали Сильвио?” — “Как не знать, ваше сиятельство: мы были с ним приятели; он в нашем полку принят был, как свой брат товарищ; да вот уж лет пять, как об нем не имею никакого известия. Так и ваше сиятельство, стало быть, знали его?” — “Знал, очень знал. Не рассказывал ли он вам... но нет; не думаю; не рассказывал ли он вам одного очень странного происшествия?” — “Не пощечина ли, ваше сиятельство, полученная им на бале от какого-то повесы?” — “А рассказывал он вам имя этого повесы?” — “Нет, ваше сиятельство, не рассказывал... Ах! ваше сиятельство, — продолжал я, догадываясь об истине, — извините... я не знал... уж не вы

ли?..” — “Я сам, — отвечал граф, с видом чрезвычайно расстроенным, — а простреленная картина есть памятник последней нашей встречи...” — “Ах, милый мой, — сказала графиня, — ради бога, не рассказывай; мне страшно будет слушать”. — “Нет, — возразил граф, — я всё расскажу; он знает, как я обидел его друга: пусть же узнает, как Сильвио мне отомстил”. Граф подвинул мне кресла, и я с живейшим любопытством услышал следующую рассказ.

“Пять лет тому назад я женился. — Первый месяц, *te honeymoon*, провел я здесь, в этой деревне. Этому дому обязан я лучшими минутами жизни и одним из самых тяжелых воспоминаний-

Однажды вечером ездили мы вместе верхом; лошадь у жены что-то заупрямилась; она испугалась, отдала мне поводья и пошла пешком домой; я поехал вперед. На дворе увидел я дорожную телегу; мне сказали, что у меня в кабинете сидит человек, не хотевший объявить своего имени, но сказавший просто, что ему до меня есть дело. Я вошел в эту комнату и увидел в темноте человека, запыленного и обросшего бородой; он стоял здесь, у камина. Я подошел к нему, стараясь припомнить его черты. “Ты не узнал меня, граф?” — сказал он дрожащим голосом. “Сильвио!” — Закричал я, и, признаюсь, я почувствовал; как волосы стали вдруг на мне дыбом; “Так точно, — продолжал он, — выстрел за мною; я приехал разрядить мой пистолет; готов ли ты?” Пистолет у него торчал из бокового кармана. Я отмерил двенадцать шагов и стал там в углу, прося его выстрелить скорее, пока жена не воротилась. Он медлил — он спросил огня. Подали свечи. Я запер двери, не велел никому входить и снова просил его выстрелить. Он вынул пистолет и прицелился... Я считал секунды... я думал о ней... Ужасная прошла минута! Сильвио опустил руку. “Жалею,—сказал он, — что пистолет заряжен не черешневыми косточками... пуля тяжела. Мне всё кажется” что у нас не дуэль, а убийство: я не привык целить в безоружного. Начнем сызнова; кинем жребий, кому стрелять первому”. Голова моя шла кругом... Кажется, я не соглашался... Наконец мы зарядили еще пистолет; свернули два билета; он положил их а фуражку, некогда мною простреленную; я вынул опять первый номер. “Ты, граф, дьявольски счастлив”, — сказал он с усмешкою, которой никогда не забуду. Не понимаю, что со мною было, и каким образом мог он меня к тому принудить... но — я выстрелил и попал вот в эту картину. (Граф указывал пальцем на простреленную картину; лицо его горело как; огонь; графиня была бледнее своего платка: я не мог воздержаться от восклицания.)

Я выстрелил, — продолжал граф, — и, слава богу, дал промах; тогда Сильвио... (в эту минуту он был, право, ужасен) Сильвио стал в меня прицеливаться. Вдруг двери отво-

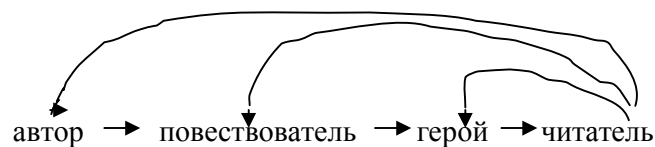
рились. Маша вбегает и с визгом кидается мне на шею. Ее присутствие возвратило мне всю бодрость. “Милая, — сказал я ей, разве ты не видишь, что мы шутим? Как же ты перепугалась! поди, выпей стакан воды и приди к нам; я представлю тебе старинного друга и товарища”. Маше все еще не верилось. “Скажите, правду ли муж говорит?— сказала она, обращаясь к грозному Сильвио, — правда ли, что вы оба шутите?” — “Он всегда шутит, графиня, — отвечал ей Сильвио, — однажды дал он мне шутя пощечину, шутя прострелил мне вот эту фуражку, шутя дал сейчас по мне промах; теперь и мне пришла охота пошутить...” С этим словом он хотел в меня прицелиться... при ней! Маша бросилась к его ногам. “Встань, Маша, стыдно!—закричал я в бешенстве;— а вы, сударь” перестанете ли издеваться над бедной женщиной? Будете ли вы стрелять, или нет?” — “Не буду, — отвечал Сильвио, —я доволен: я видел твое смятение, твою робость; я заставил тебя выстрелить по мне, с меня довольно. Будешь меня помнить. Предаю тебя твоей совести”. Тут он было вышел, но остановился в дверях, оглянулся на простреленную мною картину, выстрелил в нее, почти не целясь, и скрылся. Жена лежала в обмороке; люди не смели его остановить и с ужасом на него глядели; он вышел на крыльцо, кликнул ямщика и уехал, прежде чем успел я опомниться”.

Граф замолчал. Таким образом узнал я конец повести, коей начало некогда так поразило меня. С героем оной уже я не встречался. Сказывают, что Сильвио, во время возмущения Александра Ипсиланти *предводительствовал отрядом этеристов* и был убит в сражении под Скулянами.

Теоретическое положение

Художественное произведение всегда, предполагает существование конкретного субъекта высказывания и наличие определенного воспринимающего сознания.

Коммуникативная цепочка в данном случае выглядит следующим образом:



Иными словами, внутри художественного произведения действуют четыре смысла – автора, повествователя, героя, читателя, тесно взаимодействующие друг с другом. Это взаимодействие поддерживается стремлением автора донести до читателя свою точку зре-

ния через систему образов в расчете на максимально полное их восприятие читателем. Адекватности здесь добиться невозможно в силу естественной разницы между миропониманием, мировоззрением и мировосприятием автора и читателя, проистекающей из социально-демографических, этнических и культурологических различий между ними.

Опираясь на концепцию Б.О. Кормана, выделившего несколько типов категории “автор”, следует признать, что “автор биографический” как реально существующий человек объективируется в мире художественного произведения лишь фамилией над текстом. Его заменяют либо автор “как некий взгляд на действительность, выражением которого является все произведения” (Б. Корман); либо автор как особая форма выражения авторского сознания в лирике, либо автор как повествователь (условный или персонифицированный), организующий своей личностью повествование.

Авторское присутствие в тексте ощущается прямо (в системе рассуждений и оценок) и косвенно (в отборе деталей, в характере повествования, в композиции, в характере разработки конфликта и пр.). Оно пронизывает как смысловой уровень произведения, так и его стилистический уровень.

* _ *

“Автор должен незримо присутствовать в своем произведении всюду, как Бог во Вселенной”.

Т. Флобер

Автор находится в сложных отношениях с героем: он “позволяет” персонажам поступать в соответствии с логикой развития их характеров, допуская определенную автономию существования героя. Являясь демиургом (творцом) художественного произведения, автор опирается в повествовании на своего соавтора – действительность.

* _ *

Художник поэтому и художник, что он видит предметы не так, как он хочет видеть, а так, как они есть.

Л. Толстой

Первоначальный авторский замысел может не совпадать со смыслом всего произведения. Художественное произведение – “лабиринт сцеплений”, в котором могут оказаться разведенными понятие “смысл” (т.е. то, что присуще вещи) и понятие “значение” (т.е. то, что приобретается вещью в процессе ее восприятия).

Важная роль в художественном произведении отводится повествователю как субъекту высказывания, которому от начала до конца принадлежит текст данного произведения. Активность повествователя различна: он может быть наблюдателем событий, ком-

ментатором событий и участником событий, превращаясь в данном случае в героя-рассказчика. Степень активности повествователя связана с пространственно-временной удаленностью его от описываемых событий.

Точка зрения повествователя определяющая в произведении. При этом она может не совпадать с точкой зрения автора: повествователь выступает не только, как доверенное лицо автора, но и как его оппонент.

Современное литературоведение отмечает две тенденции в выражении авторской позиции в художественном произведении: проявление интерактивности – стремление пробудить в аудитории интерес к поставленной проблеме, наладить диалог с читателем; проявление антропоцентризма – утверждения господства автора в тексте произведения.

* _ *

Центральным “персонажем” литературного процесса стало не произведение, подчиненное канону, а его создатель; центральной категорией поэтики – не стиль или жанр, а автор.

С.С. Аверинцев, М.Л. Андреев, М.Л. Гаспаров, М. Гринцер, А.В. Михайлов.

“Категории поэтики в смене литературных эпох”.

Историческая поэтика. Литература эпохи и типы художественного сознания. – М., 1994. – С.33

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ VIII
Система хронотопа в художественном произведении

1. Художественное “времяпространство” как теоретико-литературное понятие.
2. Компоненты художественного времени и художественного пространства.
3. Своеобразие хронотопа в произведениях А.П. Чехова.

Литература

1. Бахтин М.М. Формы времени и хронотопа в романе // Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. – М., 1975. – С.234-236, С.391-408
2. Ритм, пространство и время в литературе и искусстве. – Л., 1974. – С.26-142
3. Лихачев Д.С. Поэтика древнерусской литературы. – Изд. 3-е. – М., Наука, 1979
4. Кройчик Л.Е. Поэтика комического в произведениях А.П.Чехова. – Воронеж, 1986
5. Художественное время и художественное пространство // Краткая литературная энциклопедия. – Т.9. – С.772-779

Черный монах

Андрей Васильич Коврин, магистр, утомился и расстроил себе нервы. Он не лечился, но как-то вскользь, за бутылкой вина, поговорил с приятелем доктором, и тот посоветовал ему провести весну и лето в деревне. Кстати же пришло длинное письмо от Тани Песоцкой, которая просила его приехать в Борисовку и погостить. И он решил, что ему в самом деле нужно проехать.

Сначала — это было в апреле — он поехал к себе, в свою родовую Ковринку, и здесь прожил в уединении три недели; потом, дождавшись хорошей дороги, отправился на лошадях к своему бывшему опекуну и воспитателю Песоцкому, известному в России садоводу. От Ковринки до Борисовки, где жили Песоцкие, считалось не больше семидесяти верст, и ехать по мягкой весенней дороге в покойной рессорной коляске было истинным наслаждением.

Дом у Песоцкого был громадный, с колоннами, со львами, на которых облупилась штукатурка, и с фрачным лакеем у подъезда. Старинный парк, угрюмый и строгий, разби-

тый на английский манер, тянулся чуть ли не на целую версту от дома до реки и здесь оканчивался обрывистым, крутым глинистым берегом, на котором росли сосны с обнажившимися корнями, похожими на мохнатые лапы; внизу нелюдимо блестела вода, носились с жалобным писком кулики, и всегда тут было такое настроение, что хоть садись и балладу пиши. Зато около самого дома, во дворе и в фруктовом саду, который вместе с питомниками занимал десятин тридцать, было весело и жизнерадостно даже в дурную погоду. Таких удивительных роз, лилий, камелий, таких тюльпанов всевозможных цветов, начиная с ярко-белого и кончая черным как сажа, вообще такого богатства цветов, как у Песоцкого, Коврину не случалось видеть нигде в другом месте. Весна была еще только в начале, и самая настоящая роскошь цветников пряталась еще в теплицах, но уж и того, что цвело вдоль аллей и там и сям на клумбах, было достаточно, чтобы, гуляя по саду, почувствовать себя в царстве нежных красок, особенно в ранние часы, когда на каждом лепестке сверкала роса.

То, что было декоративною частью сада и что сам Песоцкий презрительно обзывал пустяками, производило на Коврина когда-то в детстве сказочное впечатление. Каких только тут не было причуд, изысканных уродств и издевательств над природой! Тут были шпалеры из фруктовых деревьев, груша, имевшая форму пирамидального тополя, шаровидные дубы и липы, зонт из яблони, арки, вензеля, канделябры и даже 1862 из слив—цифра, означавшая год, когда Песоцкий впервые занялся садоводством. Попадались тут и красивые стройные деревца с прямыми и крепкими, как у пальм, стволами, и, только пристально всмотревшись, можно было узнать в этих деревцах крыжовник или смородину. Но что больше всего веселило в саду и придавало ему оживленный вид, так это постоянное движение. От раннего утра до вечера около деревьев, кустов, на аллеях и клумбах, как муравьи, копошились люди с тачками, мотыгами, лейками...

Коврин приехал к Песоцким вечером, в десятом часу. Таню и ее отца, Егора Семеныча, он застал в большой тревоге. Ясное, звездное небо и термометр пророчили мороз к утру, а между тем садовник Иван Карлыч уехал в город и положиться было не на кого. За ужином говорили только об утреннике и было решено, что Таня не ляжет спать и в первом часу пройдет по саду и посмотрит, все ли в порядке, а Егор Семеныч встанет в три часа и даже раньше.

Коврин просидел с Таней весь вечер и после полуночи отправился с ней в сад. Было холодно. Во дворе уже сильно пахло гарью. В большом фруктовом саду, который назывался коммерческим и приносил Егору Семенычу ежегодно несколько тысяч чистого дохода, стлался по земле черный, густой, едкий дым и, обволакивая деревья, спасал от

мороза эти тысячи. Деревья тут стояли в шашечном порядке, ряды их были прямы и правильны, точно шеренги солдат, и эта строгая педантическая правильность и то, что все деревья были одного роста и имели совершенно одинаковые кроны и стволы, делали картину однообразной и даже скучной. Коврин и Таня прошли по рядам, где тлели костры из навоза, соломы и всяких отбросов, и изредка им встречались работники, которые бродили в дыму, как тени. Цвели только вишни, сливы и некоторые сорта яблонь, но весь сад утопал в дыму, и только около питомников Коврин вздохнул полной грудью,

— Я еще в детстве чихал здесь от дыма, — сказал он, пожимая плечами, — но до сих пор не понимаю, как это дым может спасти от мороза.

— Дым заменяет облака, когда их нет... — ответила Таня.

— А для чего нужны облака?

— В пасмурную и облачную погоду не бывает утренников.

— Вот как!

Он засмеялся и взял ее за руку. Ее широкое, очень серьезное, озябшее лицо с тонкими черными бровями, поднятый воротник пальто, мешавший ей свободно двигать головой, и вся она, худощавая, стройная, в подобранном от росы платье, умиляла его.

— Господи, она уже взрослая! — сказал он. — Когда я уезжал отсюда в последний раз, пять лет назад, вы были еще совсем дитя. Вы были такая тощая, длинноногая, просто-волосая, носили короткое платьице, и я дразнил вас цаплей... Что делает время!

— Да, пять лет! — вздохнула Таня. — Много воды утекло с тех пор. Скажите, Андрюша, по совести, — живо заговорила она, глядя ему в лицо, — вы отвыкли от нас? Впрочем, что же я спрашиваю? Вы мужчина, живете уже своего, интересною жизнью, вы величина... Отчуждение так естественно! Но как бы ни было, Андрюша мне хочется, чтобы вы считали нас своими. Мы имеем на это право.

— Я считаю, Таня.

— Честное слово?

— Да, честное слово.

— Вы сегодня удивлялись, что у нас так много ваших фотографий. Ведь вы знаете, мой отец обожает вас. Иногда мне кажется, что вас он любит больше, чем меня. Он гордится вами. Вы ученый, необыкновенный человек, вы сделали себе блестящую карьеру, и он уверен, что вы вышли такой оттого, что он воспитал вас. Я не мешаю ему так думать. Пусть.

Уже начинался рассвет, и это особенно было заметно по той отчетливости, с какою стали выделяться в воздухе клубы дыма и кроны деревьев. Пели соловьи, и с полей доно-

сился крик перепелов.

— Однако, пора спать,— сказала Таня. — Да и холодно.—Она взяла его под руку.—Спасибо, Андрюша, что приехали. У нас неинтересные знакомые, да и тех мало. У нас только сад, сад, сад,—и больше ничего. Штамб, полуштамб, — засмеялась она.— апорт, ранет, боровинка, окулировка, копулировка... Вся, вся наша жизнь ушла в сад, мне даже ничего никогда не снится, кроме яблонь и груш. Конечно, это хорошо, полезно, но иногда хочется и еще чего-нибудь для разнообразия. Я помню, когда вы, бывало, приезжали к нам на каникулы или просто так, то в доме становилось как-то свежее и светлее, точно с люстры и с мебели чехлы снимали. Я была тогда девочкой и все-таки понимала.

Она говорила с большим чувством. Ему почему-то вдруг пришло в голову, что в течение лета он может привязаться к этому маленькому, слабому, многоречивому существу, увлечься и влюбиться,— в положении их обоих это так возможно и естественно! Эта мысль умилила и насмешила его; он нагнулся к милому, озабоченному липу и запел тихо:

Онегин, я скрывать не стану, Безумно я люблю Татьяну...

Когда пришли домой, Егор Семеныч уже встал. Коврину не хотелось спать, он разговорился со стариком и вернулся с ним в сад. Егор Семеныч был высокого роста, широк в плечах, с большим животом и страдал одышкой, но всегда ходил так быстро, что за ним трудно было поспеть. Вид он имел крайне озабоченный, все куда-то торопился и с таким выражением, как будто опоздай он хоть на одну минуту, то всё погибло!

— Вот, брат, история...— начал он, останавливаясь, чтобы перевести дух.— На поверхности земли, как видишь, мороз, а подними на палке термометр сажени на две выше земли, там тепло... Отчего это так?

— Право, не знаю,— сказал Коврин и засмеялся.

— Гм... Всего знать нельзя, конечно... Как бы обширен ум ни был, всего туда не поместишь. Ты ведь все больше насчет философии?

— Да. Читаю психологию, занимаюсь же вообще философией.

— И не прискучает?

— Напротив, этим только я и живу.

— Ну дай бог... — проговорил Егор Семеныч, в раздумье поглаживая свои седые бакены.— Дай бог... Я за тебя очень рад... рад, братец...

Но вдруг он прислушался и, сделавши страшное лицо, побежал в сторону и скоро исчез за деревьями, в облаках дыма.

— Кто это привязал лошадь к яблоне? — послышался его отчаянный, душу раздражающий крик. — Какой это мерзавец и каналья осмелился привязать лошадь к яблоне?

Боже мой, боже мой! Перепортили, перемерзили, пересквернили, перепакостили! Пропал сад! Погиб сад! Боже мой!

Когда он вернулся к Коврину, лицо у него было изнеможенное, оскорбленное.

— Ну что ты поделаешь с этим анафемским народом? — сказал он плачущим голосом, разводя руками.— Степка возил ночью навоз и привязал лошадь к яблоне! Замотал, подлец, вожжищи туго-натуго, так что кора в трех местах потерлась. Каково! Говорю ему, а он— толкач толкачом и только глазами хлопает! Повесить мало!

Успокоившись, он обнял Коврина и поцеловал в щеку.

— Ну, дай бог... дай бог... — забормотал он.— Я очень рад, что ты приехал. Несказанно рад... Спасибо.

Потом он все тою же быстрою походкой и с озабоченным лицом обошел весь сад и показал своему бывшему воспитаннику все оранжереи, теплицы, грунтовые сараи и свои две пасеки, которые называл чудом нашего столетия.

Пока они ходили, взошло солнце и ярко осветило сад. Стало тепло. Предчувствуя ясный, веселый, длинный день. Коврин вспомнил, что ведь это еще только начало мая и что еще впереди целое лето, такое же ясное, веселое, длинное, и вдруг в груди его шевельнулось радостное молодое чувство, какое он испытывал в детстве, когда бегал по этому саду. И он сам обнял старика и нежно поцеловал его. Оба, растроганные, пошли в дом и стали пить чай из старинных фарфоровых чашек, со сливками, с сытными, сдобными кренделями — и эти мелочи опять напомнили Коврину его детство и юность. Прекрасное настоящее и просыпавшиеся в нем впечатления прошлого сливались вместе; от них в душе было тесно, но хорошо.

Он дождался, когда проснулась Таня, и вместе с нею напился кофе, погулял, потом пошел к себе в комнату и сел за работу. Он внимательно читал, делал заметки и изредка поднимал глаза, чтобы взглянуть на открытые окна или на свежие, еще мокрые от росы цветы, стоявшие в вазах на столе, и опять опускал глаза в книгу, и ему казалось, что в нем каждая жилочка дрожит и играет от удовольствия.

II

В деревне он продолжал вести такую же нервную и беспокойную жизнь, как в городе. Он много читал и писал, учился итальянскому языку и, когда гулял, с удовольствием думал о том, что скоро опять сядет за работу. Он спал так мало, что все удивлялись; если нечаянно уснет днем на полчаса, то уже потом не спит всю ночь и после бессонной ночи,

как ни в чем не бывало, чувствует себя бодро и весело.

Он много говорил, пил вино и курил дорогие сигары. К Песоцким часто, чуть ли не каждый день, приезжали барышни-соседки, которые вместе с Таней играли на рояле и пели; иногда приезжал молодой человек, сосед, хорошо игравший на скрипке. Коврин слушал музыку и пение с жадностью и изнемогал от них, и последнее выразалось физически тем, что у него слипались глаза и клонило голову набок.

Однажды после вечернего чая он сидел на балконе и читал. В гостиной в это время Таня — сопрано, одна из барышень — контральто и молодой человек на скрипке разучивали известную серенаду Брага. Коврин вслушивался в слова — они были русские — и никак не мог понять их смысла. Наконец, оставив книгу и вслушавшись внимательно, он понял: девушка, больная воображением, слышала ночью в саду какие-то таинственные звуки, до такой степени прекрасные и странные, что должна была признать их гармонией священной, которая нам, смертным, непонятна и потому обратно улетает в небеса. У Коврина стали слипаться глаза. Он встал и в изнеможении прошелся по гостиной, потом по зале. Когда пение прекратилось, он взял Таню под руку и вышел с нею на балкон.

— Меня сегодня с самого утра занимает одна легенда,— сказал он. — Не помню, вычитал ли я ее откуда или слышал, но легенда какая-то странная, ни с чем не сообразная. Начать с того, что она не отличается ясностью. Тысячу лет тому назад какой-то монах, одетый в черное, шел по пустыне, где-то в Сирии или Аравии... За несколько миль от того места, где он шел, рыбаки видели другого черного монаха, который медленно двигался по поверхности озера- Этот второй монах был мираж. Теперь забудьте все законы оптики, которых легенда, кажется, не признает, и слушайте дальше. От миража получился другой мираж, потом от другого третий, так что образ черного монаха стал без конца передаваться из одного слоя атмосферы в другой. Его видели то в Африке, то в Испании, то в Индии, то на Дальнем Севере... Наконец, он вышел из пределов земной атмосферы и теперь блуждает по всей вселенной, все никак не попадая в те условия, при которых он мог бы померкнуть. Быть может, его видят теперь где-нибудь на Марсе или на какой-нибудь звезде Южного Креста. Но, милая моя, самая суть, самый гвоздь легенды заключается в том, что ровно через тысячу лет после того, как монах шел по пустыне, мираж опять попадет в земную атмосферу и покажется людям. И будто бы эта тысяча лет уже на исходе... По смыслу легенды, черного монаха мы должны ждать не сегодня — завтра.

— Станный мираж,— сказала Таня, которой не понравилась легенда.

— Но удивительнее всего,— засмеялся Коврин, — что я никак не могу вспомнить, откуда попала мне в голову эта легенда. Читал где? Слышал? Или, быть может, черный

монах снился мне? Клянусь богом, не помню. Но легенда меня занимает. Я сегодня о ней целый день думаю.

Отпустив Таню к гостям, он вышел из дому и в раздумье прошелся около клумб. Уже садилось солнце. Цветы, оттого что их только что полили, издавали влажный, раздражающий запах. В доме опять запели, и издали скрипка производила впечатление человеческого голоса. Коврин, напрягая мысль, чтобы вспомнить, где он слышал или читал легенду, направился, не спеша, в парк и незаметно дошел до реки.

По тропинке, бежавшей по крутому берегу мимо обнаженных корней, он спустился вниз к воде, обеспокоил тут куликов, спугнул двух уток. На угрюмых соснах кое-где еще отсвечивали последние лучи заходящего солнца, но на поверхности реки был уже настоящий вечер. Коврин по лавам перешел на другую сторону. Перед ним теперь лежало широкое поле, покрытое молодой, еще не цветущей рожью. Ни человеческого жилья, ни живой души вдали, и кажется, что тропинка, если пойти по ней, приведет в то самое неизвестное загадочное место, куда только что опустилось солнце и где так широко и величаво пламенеет вечерняя заря.

“Как здесь просторно, свободно, тихо! — думал Коврин, идя по тропинке. — И кажется, весь мир смотрит на меня, притаился и ждет, чтобы я понял его...”

Но вот по ржи пробежали волны, и легкий вечерний ветерок нежно коснулся его непокрытой головы. Через минуту опять порыв ветра, но уже сильнее, — зашумела рожь, и послышался сзади глухой ропот сосен. Коврин остановился в изумлении. На горизонте, точно вихрь или смерч, поднимался от земли до неба высокий черный столб. Контур у него были неясны, но в первое же мгновение можно было понять, что он не стоял на месте, а двигался с страшною быстротой, двигался именно сюда, прямо на Коврина, и чем ближе он подвигался, тем становился все меньше и яснее. Коврин бросился в сторону, в рожь, чтобы дать ему дорогу, и едва успел это сделать...

Монах в черной одежде, с седою головой и черными бровями, скрестив на груди руки, пронесся мимо... Босые ноги его не касались земли. Уже пронесаясь сажени на три, он оглянулся на Коврина, кивнул головой и улыбнулся ему ласково и в то же время лукаво. Но какое бледное, страшно бледное, худое лицо! Опять начиная расти, он пролетел через реку, неслышно ударился о глинистый берег и сосны и, пройдя сквозь них, исчез как дым.

— Ну, вот видите ли... — пробормотал Коврин. — Значит, в легенде правда.

Не стараясь объяснить себе странное явление, довольный одним тем, что ему удалось так близко и так ясно видеть не только черную одежду, но даже лицо и глаза монаха,

приятно взволнованный, он вернулся домой.

В парке и в саду покойно ходили люди, в доме играли,— значит, только он один видел монаха. Ему сильно хотелось рассказать обо всем Тане и Егору Семенычу. но он сообразил, что они наверное сочтут его слова за бред, и это испугает их; лучше промолчать. Он громко смеялся, пел, танцевал мазурку, ему было весело, и все, гости и Таня, находили, что сегодня у него лицо какое-то особенное, лучезарное, вдохновенное, и что он очень интересен.

Ш

После ужина, когда уехали гости, он пошел к себе в комнату и лег на диван: ему хотелось думать о монахе. Но через минуту вошла Таня.

— Вот, Андрюша, почитайте статьи отца,— сказала она, подавая ему пачку брошюр и оттисков.— Прекрасные статьи. Он отлично пишет.

— Ну, уж и отлично!— говорил Егор Семеныч, входя за ней и принужденно смеясь; ему было совестно — Не слушай, пожалуйста, не читай! Впрочем, если хочешь уснуть, то, пожалуй, читай: прекрасное снотворное средство.

— По-моему, великолепные статьи,— сказала Таня с глубоким убеждением.— Вы прочтите, Андрюша, и убедите папу писать почаще. Он мог бы написать полный курс садоводства.

Егор Семеныч напряженно захохотал, покраснел и стал говорить фразы, какие обыкновенно говоря!

конфузятся авторы. Наконец, он стал сдаваться.

— В таком случае прочти сначала статью Гоше и вот эти русские статейки, — забормотал он, перебирая дрожащими руками брошюры, — а то тебе будет непонятно. Прежде чем читать мои возражения, надо знать, на что я возражаю. Впрочем, ерунда... скучища. Да и спать пора, кажется.

Таня вышла. Егор Семеныч подсел к Коврину на диван и глубоко вздохнул.

— Да, братец ты мой... — начал он после некоторого молчания. — Так-то, любезнейший мой магистр. Вот я и статьи пишу, и на выставках участвую, и медали получаю... У Песоцкого, говорят, яблоки с голову, и Песоцкий, говорят, садом себе состояние нажил. Одним словом, богат и славен Кочубей. Но спрашивается: к чему все это? Сад, действительно, прекрасный, образцовый... Это не сад, а целое учреждение, имеющее высокую государственную важность, потому что это, так сказать, ступень в новую эру русского хо-

зайства и русской промышленности. Но к чему? Какая цель?

— Дело говорит само за себя.

— Я не в том смысле. Я хочу спросить: что будет с садом, когда я помру? В том виде, в каком ты видишь его теперь, он без меня не продержится и одного месяца. Весь секрет успеха не в том, что сад велик и рабочих много, а в том, что я люблю дело — понимаешь? — люблю, быть может, больше чем самого себя. Ты посмотри на меня: я всё сам делаю. Я работаю от утра до ночи. Все прививки я делаю сам, обрезку — сам, посадки — сам, всё — сам. Когда мне помогают, я ревную и раздражаюсь до грубости. Весь секрет в любви, то есть в зорком хозяйском глазе, да в хозяйских руках, да в том чувстве, когда поедешь куда-нибудь в гости на часок, сидишь, а у самого сердце не на месте, сам не свой: боишься, как бы в саду чего не случилось. А когда я умру, кто будет смотреть? Кто будет работать? Садовник? Работники? Да? Так вот что я тебе скажу, друг любезный: первый враг в нашем деле не заяц, не хрущ и не мороз, а чужой человек.

— А Таня? — спросил Коврин, смеясь. — Нельзя, чтобы она была вреднее, чем заяц. Она любит и понимает дело.

— Да, она любит и понимает. Если после моей смерти ей достанется сад и она будет хозяйкой, то, конечно, лучшего и желать нельзя. Ну, а если, не дай бог, она выйдет замуж? — зашептал Егор Семеныч и испуганно посмотрел на Коврина. — То-то вот и есть! Выйдет замуж, пойдут дети, тут уже о саде некогда думать. Я чего боюсь главным образом: выйдет за какого-нибудь молодца, а тот сжадничает и сдаст сад в аренду торговкам, и все пойдет к чёрту в первый же год! В нашем деле бабы — бич божий!

Егор Семеныч вздохнул и помолчал немного.

— Может, это и эгоизм, но откровенно говорю: не хочу, чтобы Таня шла замуж. Боюсь! Тут к нам ездит один ферт со скрипкой и пиликает; знаю, что Таня не пойдет за него, хорошо знаю, но видеть его не могу! Вообще, брат, я большой-таки чудака. Признаюсь.

Егор Семеныч встал и в волнении прошелся по комнате, и видно было, что он хочет сказать что-то очень важное, но не решается.

— Я тебя горячо люблю и буду говорить с тобой откровенно, — решил он наконец, засовывая руки в карманы. — К некоторым щекотливым вопросам я отношусь просто и говорю прямо то, что думаю, и терпеть не могу так называемых сокровенных мыслей. Говорю прямо: ты единственный человек, за которого я не побоялся бы выдать дочь. Ты человек умный, с сердцем, и не дал бы погибнуть моему любимому делу. А главная причина — я тебя люблю, как сына... и горжусь тобой. Если бы у вас с Таней наладился как-

нибудь роман, то — что ж? я был бы очень рад и даже счастлив. Говорю это прямо, без жеманства, как честный человек.

Коврин засмеялся. Егор Семенович открыл дверь, чтобы выйти, и остановился на пороге.

— Если бы у тебя с Таней сын родился, то я бы из него садовода сделал,—сказал он, подумав.—Впрочем, сие есть мечтание пустое... Спокойной ночи.

Оставшись один, Коврин лег поудобнее и принялся за статьи. У одной было такое заглавие: “О промежуточной культуре”, у другой: “Несколько слов по поводу заметки г. Z. о перештыковке почвы под новый сад”, у третьей: “Еще об окулировке спящим глазком” — и все а таком роде. Но какой непокойный, неровный тон, какой нервный, почти болезненный задор! Вот статья, кажется, с самым мирным заглавием и безразличным содержанием: говорится в ней о русской антоновской яблоне. Но начинает ее Егор Семеныч с “*audiatur altera pars*”¹ и кончает — “*sapienti sat*”², а между этими изречениями целый фонтан разных ядовитых слов по адресу “ученого невежества наших патентованных гг. садоводов, наблюдающих природу с высоты своих кафедр”, или г. Гоше, “успех которого создан профанами и дилетантами”, и тут же некстати натянутое и неискреннее сожаление, что мужиков, ворующих фрукты и ломающих при этом деревья, уже нельзя драть розгами.

“Дело красивое, милое, здоровое, но и тут страсти и война,— подумал Коврин.— Должно быть, везде и на всех поприщах идейные люди нервные и отличаются повышенной чувствительностью. Вероятно, это так нужно”.

Он вспомнил про Таню, которой так нравятся статьи Егора Семеныча. Небольшого роста, бледная, тощая, так что ключицы видно; глаза широко раскрытые, темные, умные, все куда-то вглядываются и чего-то ищут; походка, как у отца, мелкая, торопливая. Она много говорит, любит поспорить, и при этом всякую даже незначительную фразу сопровождает выразительной мимикой и жестиком. Должно быть, нервна в высшей степени,

Коврин стал читать дальше, но ничего не понял и бросил. Приятное возбуждение, то самое, с каким он давеча танцевал мазурку и слушал музыку, теперь томило его и вызвало в нем множество мыслей. Он поднялся и стал ходить по комнате, думая о черном монахе. Ему пришло в голову, что если этого странного, сверхъестественного монаха видел только он один, то, значит, он болен и дошел уже до галлюцинаций. Это соображение испугало его, но не надолго.

¹ “пусть выслушают другую сторону” (лат.)

“Но ведь мне хорошо, и я никому не делаю зла; значит, в моих галлюцинациях нет ничего дурного”, — подумал он, и ему опять стало хорошо.

Он сел на диван и обнял голову руками, сдерживая непонятную радость, наполнившую все его существо, потом опять прошелся и сел за работу. Но мысли, которые он вычитывал из книги, не удовлетворяли его. Ему хотелось чего-то гигантского, необъятного, поражающего. Под утро он разделся и нехотя лег в постель: надо же было спать!

Когда послышались шаги Егора Семеныча, ушедшего в сад, Коврин позвонил и приказал лакею принести вина. Он с наслаждением выпил несколько рюмок лафита, потом укрылся с головой; сознание его затуманилось, и он уснул.

IV

Егор Семеныч и Таня часто ссорились и говорили друг другу неприятности.

Как-то утром они о чем-то повздорили. Таня заплакала и ушла к себе в комнату. Она не выходила ни обедать, ни чай пить. Егор Семеныч сначала ходил важный, надутый, как бы желая дать понять, что для него интересы справедливости и порядка выше всего на свете, но скоро не выдержал характера и пал духом. Он печально бродил по парку и все вздыхал: “ах, боже мой, боже мой!” и за обедом не съел ни одной крошки. Наконец, виноватый, замученный совестью, он постучал в запертую дверь и позвал робко:

— Таня! Таня?

И в ответ ему из-за двери послышался слабый, изнеможенный от слез и в то же время решительный голос:

— Оставьте меня, прошу вас.

Томление хозяев отражалось на всем доме, даже на людях, которые работали в саду. Коврин был погружен в свою интересную работу, но под конец и ему стало скучно и неловко. Чтобы как-нибудь развеять общее дурное настроение, он решил вмешаться и перед вечером постучался к Тане. Его впустили.

— Ай-ай, как стыдно! — начал он шутливо, с удивлением глядя на заплаканное, покрытое красными пятнами, скорбное лицо Тани. — Неужели так серьезно? Ай-ай!

— Но, если бы вы знали, как он меня мучит! — сказала она, и слезы, горячие, обильные слезы брызнули из ее больших глаз. — Он замучил меня! — продолжала она, ломая руки. — Я ему ничего не говорила... ничего... Я только сказала, что нет надобности

² “умному достаточно” (лат.)

держат... лишних работников, если... если можно, когда угодно, иметь поденщиков. Ведь... ведь работники уже целую

неделю ничего не делают... Я... я только это сказала, а он раскричался и наговорил мне... много обидного, глубоко оскорбительного. За что?

— Полно, полно,— проговорил Коврин, поправляя ей прическу.— Побранились, поплакали и будет. Нельзя долго сердиться, это нехорошо... тем более, что он вас бесконечно любит.

— Он мне... мне испортил всю жизнь,— продолжала Таня, всхлипывая.— Только и слышу одни оскорбления и... и обиды. Он считает меня лишней в его доме. Что же? Он прав. Я завтра уеду отсюда, поступлю в телеграфистки... Пусть...

— Ну, ну, ну... Не надо плакать, Таня. Не надо, милая... Вы оба вспыльчивы, раздражительны, и оба виноваты. Пойдемте, я вас помирю.

Коврин говорил ласково и убедительно, а она продолжала плакать, вздрагивая плечами и сжимая руки, как будто ее в самом деле постигло страшное несчастье. Ему было жаль ее тем сильнее, что горе у нее было не серьезное, а страдала она глубоко. Каких пустяков было достаточно, чтобы сделать это создание несчастным на целый день, да и пожалуй на всю жизнь! Утешая Таню, Коврин думал о том, что, кроме этой девушки и ее отца, во всем свете днем с огнем не сыщешь людей, которые любили бы его, как своего, как родного; если бы не эти два человека, то, пожалуй, он, потерявший отца и мать в раннем детстве, до самой смерти не узнал бы, что такое искренняя ласка и та наивная, не рассуждающая любовь, какую питают только к очень близким, кровным людям. И он чувствовал, что его полубольным, издерганным нервам, как железо магниту, отвечают нервы этой плачущей, вздрагивающей девушки. Он никогда бы уж не мог полюбить здоровую, крепкую, краснощекую женщину, но бледная, слабая, несчастная Таня ему нравилась.

И он охотно гладил ее по волосам и плечам, пожимал ей руки и утирал слезы... Наконец, она перестала плакать. Она еще долго жаловалась на отца и на свою тяжелую, невыносимую жизнь в этом доме, умоляя Коврина войти в ее положение; потом стала мало-помалу улыбаться и вздыхать, что бог послал ей такой дурной характер, в конце концов, громко рассмеявшись, назвала себя душой и выбежала из комнаты.

Когда немного погодя Коврин вышел в сад, Егор Семеныч и Таня уже как ни в чем не бывало гуляли рядышком по аллее и оба ели ржаной хлеб с солью, так как оба были голодны.

Довольный, что ему так удалась роль миротворца, Коврин пошел в парк. Сидя на скамье и размышляя, он слышал стук экипажей и женский смех — это приехали гости. Когда вечерние тени стали ложиться в саду, неясно послышались звуки скрипки, поющие голоса, и это напомнило ему про черного монаха. Где-то, в какой стране или на какой планете носится теперь эта оптическая несообразность?

Едва он вспомнил легенду и нарисовал в своем воображении то темное привидение, которое видел на ржаном поле, как из-за сосны, как раз напротив, вышел неслышно, без малейшего шороха, человек среднего роста с непокрытой седою головой, весь в темном и босой, похожий на нищего, и на его бледном, точно мертвом лице резко выделялись черные брови. Приветливо кивая головой, этот нищий или странник бесшумно подошел к скамье и сел, и Коврин узнал в нем черного монаха. Минуту оба смотрели друг на друга — Коврин с изумлением, а монах ласково и, как и тогда, немножко лукаво, с выражением себе на уме.

— Но ведь ты мираж, — проговорил Коврин. — Зачем же ты здесь и сидишь на одном месте? Это не вяжется с легендой.

— Это все равно, — ответил монах не сразу, тихим голосом, обращаясь к нему лицом. — Легенда, мираж и я — всё это продукт твоего возбужденного воображения. Я — призрак.

— Значит, ты не существуешь? — спросил Коврин.

— Думай, как хочешь, — сказал монах и слабо улыбнулся. — Я существую в твоём воображении, а воображение твоё есть часть природы, значит, я существую и в природе.

— У тебя очень старое, умное и в высшей степени выразительное лицо, точно ты в самом деле прожил больше тысячи лет, — сказал Коврин. — Я не знал, что мое воображение способно создавать такие феномены.

Но что ты смотришь на меня с таким восторгом? Я тебе нравлюсь?

— Да. Ты один из тех немногих, которые по справедливости называются избранныками божиими. Ты служишь вечной правде. Твои мысли, намерения, твоя удивительная наука и вся твоя жизнь носят на себе божественную, небесную печать, так как посвящены они разумному и прекрасному, то есть тому, чтоечно.

— Ты сказал: вечной правде... Но разве людям доступна и нужна вечная правда, если нет вечной жизни?

— Вечная жизнь есть, — сказал монах.

— Ты веришь в бессмертие людей?

— Да, конечно. Вас, людей, ожидает великая, блестящая будущность. И чем больше на земле таких, как ты, тем скорее осуществится это будущее. Без вас, служителей высшему началу, живущих сознательно и свободно, человечество было бы ничтожно; развиваясь естественным порядком, оно долго бы еще ждало конца своей земной истории. Вы же на несколько тысяч лет раньше введете его в царство вечной правды — и в этом ваша высокая заслуга. Вы воплощаете собой благословение божие, которое почило на людях.

— А какая цель вечной жизни? — спросил Коврин.

— Как и всякой Жизни — наслаждение. Истинное наслаждение в познании, а вечная жизнь представит бесчисленные и неисчерпаемые источники для познания, и в этом смысле сказано: в доме Отца Моего обители многи суть.

— Если бы ты знал, как приятно слушать тебя! — сказал Коврин, потирая от удовольствия руки.

— Очень рад.

— Но я знаю: когда ты уйдешь, меня будет беспокоить вопрос о твоей сущности. Ты призрак, галлюцинация. Значит, я психически болен, ненормален?

— Хотя бы и так. Что смущаться? Ты болен, потому что работал через силу и утомился, а это значит, что свое здоровье ты принес в жертву идее и близко время, когда ты отдашь ей и самую жизнь. Чего лучше? Это — то, к чему стремятся все вообще одаренные свыше благородные натуры.

— Если я знаю, что я психически болен, то могу ли я весить себе?

— А почему ты знаешь, что гениальные люди, которым верит весь свет, тоже не видели призраков? Говорят же теперь ученые, что гений сродни умопомешательству. Друг мой, здоровы и нормальны только заурядные, стадные люди. Соображения насчет нервного века, переутомления, вырождения и т. п. могут серьезно волновать только тех, кто цель жизни видит в настоящем, то есть стадных людей.

— Римляне говорили: *mens sana in corpore sano*.³

— Не все то правда, что говорили римляне или греки. Повышенное настроение, возбуждение, экстаз — все то, что отличает пророков, поэтов, мучеников за идею от обыкновенных людей, противно животной стороне человека, то есть его физическому здоровью. Повторяю: если хочешь быть здоров и нормален, иди в стадо.

— Странно, ты повторяешь то, что часто мне самому приходит в голову,— сказал

³ здоровый дух в здоровом теле

Коврин,— Ты как будто подсмотрел и подслушал мои сокровенные мысли. Но давай говорить не обо мне. Что ты разумеешь под вечною правдой?

Монах не ответил. Коврин взглянул на него и не разглядел лица: черты его туманились и расплывались. Затем у монаха стали исчезать голова, руки; туловище его смешалось со скамьей и с вечерними сумерками, и он исчез совсем.

— Галлюцинация кончилась! — сказал Коврин и засмеялся.—А жаль.

Он пошел назад к дому веселый и счастливый. То немногое, что сказал ему черный монах, льстило не самолюбию, а всей душе, всему существу его. Быть избранником, служить вечной правде, стоять в ряду тех, которые на несколько тысяч лет раньше сделают человечество достойным царствия божия, то есть избавят людей от нескольких лишних тысяч лет борьбы, греха и страданий, отдать идее все—молодость, силы, здоровье, быть готовым умереть для общего блага,— какой высокий, какой счастливый удел! У него пронеслось в памяти его прошлое, чистое, целомудренное, полное труда, он вспомнил то, чему учился и чему сам учил других, и решил, что в словах монаха не было преувеличения.

Навстречу по парку шла Таня. На ней было уже другое платье.

— Вы здесь?— сказала она. — А мы вас ищем, ищем... Но что с вами? — удивилась она, взглянув на его восторженное, сияющее лицо и на глаза, полные слез. —Какой вы странный. Андрюша.

— Я доволен, Таня,— сказал Коврин, кладя ей руки на плечи. — Я больше чем доволен, я счастлив! Таня, милая Таня, вы чрезвычайно симпатичное существо. Милая Таня, я так рад, так рад!

Он горячо поцеловал ей обе руки и продолжал:

— Я только что пережил светлые, чудные, неземные минуты. Но я не могу рассказать вам всего, потому что вы назовете меня сумасшедшим или не поверите мне. Будем говорить о вас. Милая, славная Таня! Я вас люблю и уже привык любить. Ваша близость, встречи наши по десяти раз на день стали потребностью моей души. Не знаю, как я буду обходиться без вас, когда уеду к себе.

— Ну! — засмеялась Таня. — Вы забудете про нас через два дня. Мы люди маленькие, а вы великий человек.

— Нет, будем говорить серьезно! — сказал он. — Я возьму вас с собой, Таня. Да? Вы поедете со мной? Вы хотите быть моей?

— Ну! — сказала Таня и хотела опять засмеяться, но смеха не вышло, и красные пятна выступили у нее на лице.

Она стала часто дышать и быстро-быстро пошла, но не к дому, а дальше в парк.

— Я не думала об этом... не думала! — говорила она, как бы в отчаянии сжимая руки.

А Коврин шел за ней и говорил все с тем же сияющим, восторженным лицом:

— Я хочу любви, которая захватила бы меня всего, и эту любовь только вы, Таня, можете дать мне. Я счастлив! Счастлив!

Она была ошеломлена, согнулась, съежилась и точно состарилась сразу на десять лет, а он находил ее прекрасной и громко выражал свой восторг:

— Как она хороша!

VI

Узнав от Коврина, что не только роман наладился, но что даже будет свадьба, Егор Семеныч долго ходил из угла и угол, стараясь скрыть волнение. Руки у него стали трястись, шея надулась и побагровела, он велел заложить беговые дрожки и уехал куда-то. Таня видевшая, как он хлестнул по лошади и как глубоко, почти на уши, надвинул фуражку, поняла его настроение, заперлась у себя и проплакала весь день.

В оранжереях уже поспели персики и сливы; упаковка и отправка в Москву этого нежного и прихотливого груза требовала много внимания, труда и хлопот. Благодаря тому, что лето было очень жаркое и сухое, понадобилось поливать каждое дерево, на что ушло много времени и рабочей силы, и появилась во множестве гусеница, которую работники и даже Егор Семеныч и Таня, к великому омерзению Коврина, давили прямо пальцами. При всем том нужно уже было принимать заказы к осени на фрукты и деревья и вести большую переписку. И в самое горячее время, когда, казалось, ни у кого не было свободной минуты, наступили полевые работы, которые отняли у сада больше половины рабочих; Егор Семеныч, сильно загоревший, замученный, злой, скакал то в сад, то в поле и кричал, что его разрывают на части и что он пустит себе пулю в лоб.

А тут еще возня с приданым, которому Песочки придавали не малое значение; от звяканья ножниц, стука швейных машин, угара утюгов и от капризов модистки, нервной, обидчивой дамы, у всех в доме кружились головы. И как нарочно, каждый день приезжали гости, которых надо было забавлять, кормить и даже оставлять ночевать. Но вся эта каторга прошла незаметно, как в тумане. Таня чувствовала себя так, как будто любовь и счастье захватили ее врасплох, хотя с четырнадцати лет была уверена почему-то, что Коврин женится именно на ней. Она изумлялась, недоумевала, не верила себе... То вдруг на-

хлынет такая радость, что хочется улететь под облака и там молиться богу, а то вдруг вспомнится, что в августе придется расставаться с родным гнездом и оставлять отца, или, бог весть откуда, придет мысль, что она ничтожна, мелка и недостойна такого великого человека, как Коврин,— и она уходит к себе, запирается на ключ и горько плачет в продолжение нескольких часов. Когда бывают гости, вдруг ей покажется, что Коврин необыкновенно красив и что в него влюблены все женщины и завидуют ей, и душа ее наполняется восторгом и гордостью, как будто она победила весь свет, но стоит ему приветливо улыбнуться какой-нибудь барышне, как она уж дрожит от ревности, уходит к себе — и опять слезы. Эти новые ощущения завладели ею совершенно, она помогала отцу машинально и не замечала ни персиков, ни гусениц, ни рабочих, ни того, как быстро бежало время.

С Егором Семенычем происходило почти то же самое. Он работал с утра до ночи, все спешил куда-то, выходил из себя, раздражался, но все это в каком-то волшебном полусне. В нем уже сидело как будто бы два человека: один был настоящий Егор Семеныч, который, слушая садовника Ивана Карлыча, докладывавшего ему о беспорядках, возмущался и в отчаянии хватал себя за голову, и другой, не настоящий, точно полупьяный, который вдруг на полуслове прерывал деловой разговор, трогал садовника за плечо и начинал бормотать:

— Что ни говори, а кровь много значит. Его мать была удивительная, благороднейшая, умнейшая женщина. Было наслаждением смотреть на ее доброе, ясное, чистое лицо, как у ангела. Она прекрасно рисовала, писала стихи, говорила на пяти иностранных языках, пела... Бедняжка, царство ей небесное, скончалась от чахотки.

Не настоящий Егор Семеныч вздыхал и, помолчав, продолжал:

— Когда он был мальчиком и рос у меня, то у него было такое же ангельское лицо, ясное и доброе. У него и взгляд, и движения, и разговор нежны и изящны, как у матери. А ум? Он всегда поражал нас своим умом. Да и то сказать, недаром он магистр! Недаром! А погоди. Иван Карлыч, каков он будет лет через десять! Рукой не достанешь!

Но тут настоящий Егор Семеныч, спохватившись, делал страшное лицо, хватал себя за голову и кричал:

— Черти! Пересквернили, перепоганили, перемерзили! Пропал сад! Погиб сад!

А Коврин работал с прежним усердием и не замечал сутолоки. Любовь только подлила масла в огонь. После каждого свидания с Таней он, счастливый, восторженный, шел к себе и с тою же страстностью, с какою он только что целовал Таню и объяснялся ей в любви, орался за книгу или за свою рукопись. То, что говорил черный монах об избранни-

ках божиих, вечной правде, о блестящей будущности человечества и проч., придавало его работе особенное, необыкновенное значение и наполняло его душу гордостью, сознанием собственной высоты. Раз или два в неделю, в парке или в доме, он встречался с черным монахом и подолгу беседовал с ним, но это не пугало, а, напротив, восхищало его, так как он был уже крепко убежден, что подобные видения посещают только избранных, выдающихся людей, посвятивших себя служению идее.

Однажды монах явился во время обеда и сел в столовой у окна. Коврин обрадовался и очень ловко завел разговор с Егором Семенычем и с Таней о том, что могло быть интересно для монаха; черный гость слушал и приветливо кивал головой, а Егор Семеныч и Таня тоже слушали и весело улыбались, не подозревая, что Коврин говорит не с ними, а со своей галлюцинацией.

Незаметно подошел Успенский пост, а за ним скоро и день свадьбы, которую, по настойчивому желанию Егора Семеныча, отпраздновали “с треском”, то есть с бестолковою гульбой, продолжавшеюся двое суток. Съели и выпили тысячи на три, но от плохой наемкой музыки, крикливых тостов и лакейской беготни, от шума и тесноты не поняли вкуса ни в дорогих винах, ни в удивительных закусках, выписанных из Москвы.

VII

Как-то в одну из длинных зимних ночей Коврин лежал в постели и читал французский роман. Бедняжка Таня, у которой по вечерам болела голова от непривычки жить в городе, давно уже спала и изредка в бреду произносила какие-то бессвязные фразы.

Пробило три часа. Коврин потушил свечу и лег; долго лежал с закрытыми глазами, но уснуть не мог оттого, как казалось ему, что в спальне было очень жарко и бредила Таня. В половине пятого он опять зажег свечу и в это время увидел черного монаха, который сидел в кресле около постели-

— Здравствуй, — сказал монах и, помолчав немного, спросил: — О чем ты теперь думаешь?

— О славе, — ответил Коврин. — Во французском романе, который я сейчас читал, изображен человек, молодой ученый, который делает глупости и чахнет от тоски по славе. Мне эта тоска непонятна.

— Потому что ты умен. Ты к славе относишься безразлично, как к игрушке, которая тебя не занимает.

— Да, это правда.

— Известность не улыбается тебе. Что лестного, или забавного, или поучительного в том, что твое имя вырежут на могильном памятнике и потом время сотрет эту надпись вместе с позолотой? Да и, к счастью, вас слишком много, чтобы слабая человеческая память могла удержать ваши имена.

— Понятно,— согласился Коврин.— Да и зачем их помнить? Но давай поговорим о чем-нибудь другом. Например, о счастье. Что такое счастье?

Когда часы били пять, он сидел на кровати, свесив ноги на ковер, и говорил, обращаясь к монаху:

— В древности один счастливый человек с конце концов испугался своего счастья — так оно было велико! — и, чтобы умиловить богов, принес им в жертву свой любимый перстень. Знаешь? И меня, как Поликрата, начинает немножко беспокоить мое счастье. Мне кажется странным, что от утра до ночи я испытываю одну только радость, она наполняет всего меня и заглушает все остальные чувства. Я не знаю, что такое грусть, печаль или скука. Вот я не сплю, у меня бессонница, но мне не скучно. Серьезно говорю: я начинаю недоумевать.

— Но почему? — изумился монах. — Разве радость сверхъестественное чувство? Разве она не должна быть нормальным состоянием человека? Чем выше человек по умственному и нравственному развитию, чем он свободна, тем большее удовольствие доставляет ему жизнь. Сократ, Диоген и Марк Аврелий испытывали радость, а не печаль. И апостол говорит: постоянно радуйтесь. Радуйся же и будь счастлив.

— А вдруг прогневаются боги? — пошутил Коврин и засмеялся. — Если они отнимут у меня комфорт и заставят меня зябнуть и голодать, то это едва ли придется мне по вкусу.

Таня между тем проснулась и с изумлением и ужа-ом смотрела на мужа. Он говорил, обращаясь к креслу, жестикулировал и смеялся: глаза его блестели и в смехе было что-то странное.

— Андрюша, с кем ты говоришь? — спросила она, хватая его за руку, которую он протянул к монаху.— Андрюша! С кем?

— А? С кем?—смутился Коврин.—Вот с ним... Вот он сидит,— сказал он, указывая на черного монаха.

— Никого здесь нет... никого! Андрюша, ты болен! Таня обняла мужа и прижалась к нему, как бы защищая его от видений, и закрыла ему глаза рукой.

— Ты болен! — зарыдала она, дрожа всем телом. — Прости меня, милый, дорогой, но я давно уже заметила, что душа у тебя расстроена чем-то... Ты психически болен, Анд-

рюша...

Дрожь ее сообщилась и ему. Он взглянул еще раз на кресло, которое уже было пусто, почувствовал вдруг слабость в руках и ногах, испугался и стал одеваться.

— Это ничего, Таня, ничего... — бормотал он, дрожа. — В самом деле я немножко нездоров... пора уже сознаться в этом.

— Я уже давно замечала... и папа заметил, — говорила она, стараясь сдержать рыдания. — Ты сам с собой говоришь, как-то странно улыбаешься... не спишь. О, боже мой, боже мой, спаси нас! — проговорила она в ужасе.—Но ты не бойся, Андрюша, не бойся, бога ради, не бойся...

Она тоже стала одеваться. Только теперь, глядя на нее, Коврин понял всю опасность своего положения. понял, что значат черный монах и беседы с ним. Для него теперь было ясно, что он сумасшедший.

Оба, сами не зная зачем, оделись и пошли в залу: она впереди, он за ней. Тут уж, разбуженный рыданиями, в халате и со свечой в руках стоял Егор Семеныч, который гостил у них.

— Ты не бойся, Андрюша,— говорила Таня, дрожа как в лихорадке,—не бойся... Папа, это всё пройдет... всё пройдет...

Коврин от волнения не мог говорить. Он хотел сказать тестю шутивным тоном:

— Поздравьте, я, кажется, сошел с ума,— но пошевелил только губами и горько улыбнулся.

В девять часов утра на него надели пальто и шубу, окутали его шалью и повезли в карете к доктору. Он стал лечиться.

VIII

Опять наступило лето, и доктор приказал ехать в деревню. Коврин уже выздоровел, перестал видеть черного монаха, и ему оставалось только подкрепить свои физические силы. Живя у тестя в деревне, он *пил* много молока, работал только два часа в сутки не пил вина и не курил.

Под Ильин день вечером в доме служили всенощную. Когда дьячок подал священнику кадило, то в старом громадном зале запахло точно кладбищем, и Ков-рину стало скучно. Он вышел в сад. Не замечая роскошных цветов, он погулял по саду, посидел на скамье, потом прошелся по парку; дойдя до реки, он спустился вниз и тут постоял в раз-

думье, глядя на воду. Угрюмые сосны с мохнатыми корнями, которые в прошлом году видели его здесь таким молодым, радостным и бодрым, теперь не шептались, а стояли неподвижные и немые, точно не узнавали его. И в самом деле, голова у него острижена, длинных красивых волос уже нет, походка вялая, лицо, сравнительно с прошлым летом, пополнило и побледнело.

По лавам он перешел на тот берег. Там, где в прошлом году была рожь, теперь лежал в рядах скошенный овес. Солнце уже зашло, и на горизонте пылало широкое красное зарево, предвещавшее на завтра ветреную погоду. Было тихо. Всмотриваясь по тому направлению, где в прошлом году показался впервые черный монах, Коврин постоял минут двадцать, пока не начала тускнеть вечерняя заря...

Когда он, вялый, неудовлетворенный, вернулся домой, всю ночь уже кончилась. Егор Семеныч и Таня сидели на ступенях террасы и пили чай. Они о чем-то говорили, но, увидев Коврина, вдруг замолчали, и он заключил по их лицам, что разговор у них шел о нем.

— Тебе, кажется, пора уже молоко пить,— сказала Таня мужу.

— Нет, не пора...— ответил он, садясь на самую нижнюю ступень.— Пей сама. Я не хочу.

Таня тревожно переглянулась с отцом и сказала виноватым голосом:

— Ты сам замечаешь, что молоко тебе полезно.

— Да, очень полезно! — усмехнулся Коврин. — Поздравляю вас: после пятницы во мне прибавился еще один фунт весу. — Он крепко сжал руками голову и проговорил с тоской: — Зачем, зачем вы меня лечили? Бромистые препараты, праздность, теплые ванны, надзор, малодушный страх за каждый глоток, за каждый шаг — всё это в конце концов доведет меня до идиотизма. Я сходил с ума, у меня была мания величия, но зато я был весел, бодр и даже счастлив, я был интересен и оригинален. Теперь я стал рассудительнее и солиднее, но зато я такой, как все: я — посредственность, мне скучно жить... О, как вы жестоко поступили со мной! Я видел галлюцинации, но кому это мешало? Я спрашиваю: кому это мешало?

— Бог знает, что ты говоришь! — вздохнул Егор Семеныч. — Даже слушать скучно.

— А вы не слушайте.

Присутствие людей, особенно Егора Семеныча, теперь уж раздражало Коврина, он отвечал ему сухо, -холодно и даже грубо и иначе не смотрел на него, как насмешливо и с ненавистью, а Егор Семеныч смущался и виновато покашливал, хотя вины за собой ника-

кой не чувствовал. Не понимая, отчего так резко изменились их милые, благодушные отношения, Таня жалась к отцу и с тревогой заглядывала ему в глаза; она хотела понять и не могла, и для нее ясно было только, что отношения с каждым днем становятся все хуже и хуже, что отец в последнее время сильно постарел, а муж стал раздражителен, капризен, придирчив и неинтересен. Она уже не могла смеяться и петь, за обедом ничего не ела, не спала по целым ночам, ожидая чего-то ужасного, и так измучилась, что однажды пролежала в обмороке от обеда до вечера. Во время всенощной ей показалось, что отец плакал, и теперь, когда они втроем сидели на террасе, она делала над собой усилия, чтобы не думать об этом.

— Как счастливы Будда и Магомет или Шекспир, что добрые родственники и доктора не лечили их от экстаза и вдохновения! — сказал Коврин. — Если бы Магомет принимал от нервов бромистый калий, работал только два часа в сутки и пил молоко, то после этого замечательного человека осталось бы так же мало, как после его собаки. Доктора и добрые родственники в конце концов сделают то, что человечество отупеет, посредственность будет считаться гением и цивилизация погибнет. Если бы вы знали, — сказал Коврин с досадой, — как я вам благодарен!

Он почувствовал сильное раздражение и, чтобы не сказать лишнего, быстро встал и пошел в дом. Было тихо, и в открытые окна несся из сада аромат табака и ялаппы. В громадном темном зале на полу и на рояли зелеными пятнами лежал лунный свет. Коврину припомнились восторги прошлого лета, когда так же пахло ялаппой и в окнах светилась луна. Чтобы вернуть прошлогоднее настроение, он быстро пошел к себе в кабинет, закурил крепкую сигару и приказал лакею принести вина. Но от сигары во рту стало горько и противно, а вино оказалось не такого вкуса, как в прошлом году. И что значит отвыкнуть! От сигары и двух глотков вина у него закружилась голова и началось сердцебиение, так что понадобилось принимать бромистый калий.

Перед тем, как ложиться спать, Таня говорила ему:

— Отец обожает тебя. Ты на него сердись за что-то, и это убивает его. Посмотри: он стареет не по дням, а по часам. Умоляю тебя, Андрюша, бога ради, ради своего покойного отца, ради моего покоя, будь с ним ласков!

— Не могу и не хочу.

— Но почему? — спросила Таня, начиная дрожать всем телом. — Объясни мне, почему?

— Потому, что он мне не симпатичен, вот и все, — небрежно сказал Коврин и пожал плечами, — но не будем говорить о нем: он твой отец.

— Не могу, не могу понять! — проговорила Таня, сжимая себе виски и глядя в одну точку. — Что-то непостижимое, ужасное происходит у нас в доме. Ты изменился, стал на себя не похож... Ты, умный, необыкновенный человек, раздражаешься из-за пустяков, вмешиваешься в дразги... Такие мелочи волнуют тебя, что иной раз просто удивляешься и не веришь: ты ли это? Ну, ну, не сердись, не сердись, — продолжала она, пугаясь своих слов и целуя ему руки. — Ты умный, добрый, благородный. Ты будешь справедлив к отцу. Он такой добрый!

— Он не добрый, а добродушный. Водевильные дядюшки, вроде твоего отца, сытыми добродушными физиономиями, необыкновенно хлебосольные и чудаковатые, когда-то умиляли меня и смешили и в повестях, и в водевилях, и в жизни, теперь же они мне противны. Это эгоисты до мозга костей. Противнее всего мне их сытость и этот желудочный, чисто бычий или кабаний оптимизм.

Таня села на постель и положила голову на подушку.

— Это пытка,— проговорила она, и по ее голосу видно было, что она уже крайне утомлена и что ей тяжело говорить. — С самой зимы ни одной покойной минуты... Ведь это ужасно, боже мой! Я страдаю...

— Да, конечно, я — Ирод, а ты и твой папенька — египетские младенцы. Конечно!

Его лицо показалось Тане некрасивым и неприятным. Ненависть и насмешливое выражение не шли к нему. Да и раньше она замечала, что на его лице уже чего-то недостает, как будто с тех пор, как он остригся, изменилось и лицо. Ей захотелось сказать ему что-нибудь обидное, но тотчас же она поймала себя на неприязненном чувстве, испугалась и пошла из спальни.

IX

Коврин получил самостоятельную кафедру. Вступительная лекция была назначена на второе декабря, и об этом было вывешено объявление в университетском коридоре. Но в назначенный день он известил инспектора студентов телеграммой, что читать лекции не будет по болезни.

У него шла горлом кровь. Он плевал кровью, но случалось раза два в месяц, что она текла обильно, и тогда он чрезвычайно слабел и впадал в сонливое состояние. Эта болезнь не особенно пугала его, так как ему было известно, что его покойная мать жила точно с такою же болезнью десять лет, даже больше; и доктора уверяли, что это не опасно, и советовали только не волноваться, вести правильную жизнь и поменьше говорить.

В январе лекция опять не состоялась по той же причине, а в феврале было уже поздно начинать курс. Пришлось отложить до будущего года.

Жил он уже не с Таней, а с другой женщиной, которая была на два года старше его и ухаживала за ним, как за ребенком. Настроение у него было мирное, покорное: он охотно подчинялся, и когда Варвара Николаевна — так звали его подругу — собралась везти его в Крым, то он согласился, хотя предчувствовал, что из этой поездки не выйдет ничего хорошего.

Они приехали в Севастополь вечером и остановились в гостинице, чтобы отдохнуть и завтра ехать в Ялту. Обоих утомила дорога. Варвара Николаевна напилась чаю, легла спать и скоро уснула. Но Коврин не ложился. Еще дома, за час до отъезда на вокзал, он получил от Тани письмо и не решился его распечатать, и теперь оно лежало у него в боковом кармане, и мысль о нем неприятно волновала его. Искренно, в глубине души, свою женитьбу на Тани он считал теперь ошибкой, был доволен, что окончательно разошелся с ней, и воспоминание об этой женщине, которая в конце концов обратилась в ходячие живые мощи, и в которой, как кажется, всё уже умерло, кроме больших, пристально вглядывающихся, умных глаз, воспоминание о ней возбуждало в нем одну только жалость и досаду на себя. Почерк на конверте напомнил ему, как он года два назад был несправедлив и жесток, как вымещал на ни в чем не повинных людях свою душевную пустоту, скуку, одиночество и недовольство жизнью. Кстати же он вспомнил, как однажды он рвал на мелкие клочки свою диссертацию и все статьи, написанные за время болезни, и как бросал в окно, и клочки, летая по ветру, цеплялись за деревья и цветы; в каждой строчке видел он странные, ни на чем не основанные претензии, легкомысленный задор, дерзость, манию величия, и это производило на него такое впечатление, как будто он читал описание своих пороков; но когда последняя тетрадка была разорвана и полетела в окно, ему почему-то вдруг стало досадно и горько, он пошел к жене и наговорил ей много неприятного. Боже мой, как он изводил ее! Однажды, желая причинить ей боль, он сказал ей, что ее отец играл в их романе непривлекательную роль, так как просил его жениться на ней; Егор Семёныч нечаянно подслушал это, вбежал в комнату и с отчаяния не мог выговорить ни одного слова, и только топтался на одном месте и как-то странно мычал, точно у него отнялся язык, а Таня, глядя на отца, вскрикнула раздирающим голосом и упала в обморок. Это было безобразно.

Всё это приходило на память при взгляде на знакомый почерк. Коврин вышел на балкон; была тихая теплая погода, и пахло морем. Чудесная бухта отражала в себе луну и огни и имела цвет, которому трудно подобрать название. Это было нежное и мягкое соче-

тание синего с зеленым; местами вода походила цветом на синий купорос, а местами, казалось, лунный свет сгустился и вместо воды наполнял бухту, а в общем какое согласие цветов, какое мирное, покойное и высокое настроение!

В нижнем этаже, под балконом, окна, вероятно, были открыты, потому что отчетливо слышались женские голоса и смех. По-видимому, там была вечеринка.

Коврин сделал над собой усилие, распечатал письмо и, войдя к себе в номер, прочел:

“Сейчас умер мой отец. Этим я обязана тебе, так как ты убил его. Наш сад погибает, в нем хозяйничают уже чужие, то есть происходит то самое, чего так боялся бедный отец. Этим я обязана тоже тебе. Я ненавижу тебя всю мою душой и желаю, чтобы ты скорее погиб. О, как я страдаю! Мою душу жжет невыносимая боль... Будь ты проклят. Я приняла тебя за необыкновенного человека, за гения, я полюбила тебя, но ты оказался сумасшедшим...”

Коврин не мог дальше читать, изорвал письмо и бросил. Им овладело беспокойство, похожее на страх. За ширмами спала Варвара Николаевна, и слышно было, как она дышала; из нижнего этажа доносились женские голоса и смех, но у него было такое чувство, как будто во всей гостинице кроме него не было ни одной живой души. Оттого, что несчастная, убитая горем Таня в своем письме проклинала его и желала его гибели, ему было жутко, и он мельком взглядывал на дверь, как бы боясь, чтобы не вошла в номер и не распорядилась им опять та неведомая сила, которая в какие-нибудь два года произвела столько разрушений в его жизни и в жизни близких.

Он уже по опыту знал, что когда разгуляются нервы, то лучшее средство от них — это работа. Надо сесть за стол и заставить себя, во что бы то ни стало, сосредоточиться на одной какой-нибудь мысли. Он достал из своего красного портфеля тетрадку, на которой был набросан конспект небольшой компилятивной работы, придуманной им на случай, если в Крыму покажется скучно без дела. Он сел за стол и занялся этим конспектом, и ему казалось, что к нему возвращается его мирное, покорное, безразличное настроение. Тетрадка с конспектом навела даже на размышление о суете мирской. Он думал о том, как много берет жизнь за те ничтожные или весьма обыкновенные блага, какие она может дать человеку. Например, чтобы получить под сорок лет кафедру, быть обыкновенным профессором, излагать вялым, скучным, тяжелым языком обыкновенные и притом чужие мысли, — одним словом, для того, чтобы достигнуть положения посредственного ученого, ему, Коврину, нужно было учиться пятнадцать лет, работать дни и ночи, перенести тяжелую психическую болезнь, пережить неудачный брак и проделать много всяких глупо-

стей и несправедливостей, о которых приятно было бы не помнить. Коврин теперь ясно сознавал, что он — посредственность, и охотно мирился с этим, так как, по его мнению, каждый человек должен быть доволен тем, что он есть.

Конспект совсем было успокоил его, но разорванное письмо белело на полу и мешало ему сосредоточиться. Он встал из-за стола, подобрал клочки письма и бросил в окно, но подул с моря легкий ветер, и клочки рассыпались по подоконнику. Опять им овладело беспокойство, похожее на страх, и стало казаться, что во всей гостинице кроме него нет ни одной души... Он вышел на балкон. Бухта, как живая, глядела на него множеством голубых, синих, бирюзовых и огненных глаз и манила к себе. В самом деле, было жарко и душно и не мешало бы выкупаться.

Вдруг в нижнем этаже под балконом заиграла скрипка, и запели два нежных женских голоса. Это было что-то знакомое. В романсе, который пели внизу, говорилось о какой-то девушке, больной воображением, которая слышала ночью в саду таинственные звуки и решила, что это гармония священная, нам, смертным, не понятная... У Коврина захватило дыхание, и сердце сжалось от грусти, и чудесная, сладкая радость, о которой он давно уже забыл, задрожала в его груди.

Черный высокий столб, похожий на вихрь или смерч, показался на том берегу бухты. Он с страшною быстротой двигался через бухту по направлению к гостинице, становясь все меньше и темнее, и Коврин едва успел посторониться, чтобы дать дорогу... Монах с непокрытою седою головой и с черными бровями, босой, скрестивши на груди руки, пронесся мимо и остановился среди комнаты.

— Отчего ты не поверил мне? — спросил он с укоризной, глядя ласково на Коврина. — Если бы ты поверил мне тогда, что ты гений, то эти два года ты провел бы не так печально и скудно.

Коврин уже верил тому, что он избранник божий и гений, он живо припомнил все свои прежние разговоры с черным монахом и хотел говорить, но кровь текла у него из горла прямо на грудь, и он, не зная, что делать, водил руками по груди, и манжетки стали мокрыми от крови. Он хотел позвать Варвару Николаевну, которая спала за ширмами, сделал усилие и проговорил:

— Таня!

Он упал на пол и, поднимаясь на руки, опять позвал:

— Таня!

Он звал Таню, звал большой сад с роскошными цветами, обрызганными росой, звал парк, сосны с мохнатыми корнями, ржаное поле, свою чудесную науку, свою моло-

дость, смелость, радость, звал жизнь, которая была так прекрасна. Он видел на полу около своего лица большую лужу крови и не мог уже от слабости выговорить ни одного слова, но невыразимое, безграничное счастье наполняло все его существо. Внизу под балконом играли серенаду, а черный монах шептал ему, что он гений и что он умирает потому только, что его слабое человеческое тело уже утерало равновесие и не может больше служить оболочкой для гения.

Когда Варвара Николаевна проснулась и вышла из-за ширм. Коврин был уже мертв, и на лице его застыла блаженная улыбка.

Художественное время и пространство

Исходя из того, что существуют реальный мир, мир художественного произведения и мир восприятия этого произведения, эстетика выделяет три типа времени и пространства – реальное, концептуальное и перцептуальное.

Реальное время и пространство определяет сосуществование и смену реальных объектов и процессов.

Концептуальное – представляет собой абстрактную хронометрическую модель, служащую для упорядочения описания событий.

Перцептуальное – реализуется в существовании и смене человеческих ощущений в процессе встречи с произведением искусства.

В реальном времени художественное произведение существует как материальный предмет, в перцептуальном – как модель созданного воображением автора мира, в концептуальном - как система художественных образов, воспринимаемых аудиторией.

Концептуальное и перцептуальное время и пространство относятся к категории художественного времени и пространства (в узком смысле – это прежде всего время и пространство мира художественного произведения, того виртуального мира, что создан автором). В зависимости от задач, решаемых художником и от жанра произведения можно выделить различные временные координаты, в которых развиваются процессы, события и характеры в художественных произведениях: биографическое время; легендарное и историческое время; космическое время; календарное время; время суточное.

Одновременно художник осваивает различные типы пространственных координат: предельно локализованные; земные и космические; видимые и воображаемые; близкие и

удаленные.

Художественное время и пространство идеальны и иллюзорны. Они соответствуют не реальному миру, а тем образным моделям действительности, которые создал художник, поэтому воспринимаются индивидуально каждым потребителем произведения искусства и не имеют реальной материальности и плотности.

Художественное время и пространство – составная часть образной ткани произведения, благодаря чему обладают способностью трактовки смысла произведения, выступают в качестве изобразительно-выразительных приемов создания виртуального мира (план, ракурс, ритм).

В произведении искусства время и пространство организуются с помощью хронотопа, времени пространства в их нерасчленимом единстве.

* _ *

Хронотоп – “существенная взаимосвязь временных и пространственных отношений, художественно освоенных в литературе... Хронотоп определяет художественное единство литературного произведения в его отношении к реальному миру”.

М. Бахтин. Формы времени и хронотопа в романе.

В кн.: М. Бахтин Вопросы литературы и эстетики.

– М., 1978. – С.399

* _ *

Хронотоп – производная от жанра произведения, его пафоса, авторского замысла. Он – сюжето- и фабулообразующая величина произведения.

* _ *

Всякое вступление в сферу смыслов осуществляется через ворота хронотопов.

М. Бахтин. Там же. – С.406

* _ *

Хронотоп определяет границы повествования (разомкнутость или локализацию описываемого), взаимодействие частей текста и его архитектонику, уточняет характер происходящих в произведении событий (случайность, анекдотичность, закономерность, последовательность и т.д.).